МАНСИЙСКАЯ литература

ХРЕСТОМАТИЯ

10

Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок

Мансийская литература

Хрестоматия
для учащихся 10 классов

Тюмень
2017

УДК 821. 511. 143
ББК 83.3 Манс
М 23

Редактор к.филол.н. С.С. Динисламова
Рецензент: к. ист. н. В. С. Иванова

Мансийская литература: хрестоматия для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений / авт-сост.: С. А. Герасимова ; под ред. С. С. Динисламовой. – Тюмень: ООО «ФОРМАТ», 2017. – 202 с.

Данная хрестоматия составлена на основе учебно-методического пособия «Мансийская литература в школе» для 10-11 классов, автор С.С. Динисламова (2015 г.). В хрестоматию вошли произведения А.С. Тарханова, Ю. Шесталова, Н.М. Садомина, С.С. Динисламовой, рекомендованные для изучения в 10 классе общеобразовательной школы. Главная цель хрестоматии – обогатить читательский опыт учеников. Книга предназначена как для организации занятий по мансийской литературе, так и для самостоятельного чтения.

УДК 821. 511. 143
ББК 83.3 Манс

ISBN 978-5-6040368-1-5

Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией Обско-угорского института прикладных исследований и разработок

© Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 2017
© Герасимова С.А., 2017
© ООО «ФОРМАТ», изготовление, 2017

Тарханов Андрей Семенович

УТРЕННИЙ ЛЫЖНИК

Поляны синей небосвода.
Они, как расколотый лед.
Лыжня, убегая к восходу,
Струной санквалтапа поет.
Проснулись и кедры, и ели –
Дыханье прошло по снегам.
И ноту берут свиристели,
И дятел стучит в барабан.
И лоси на просеку вышли.
Тут, радуясь новому дню,
Стремительно утренний лыжник
Ведет к горизонту лыжню.
И утро с улыбкою алой
Пред ним расстилает свой наст.
Он наших лесов и увалов –
Первооткрыватель сейчас.
А солнце все ближе и ближе.
И неба торжественней звон.
Спешите, как утренний лыжник,
Спешите открыть горизонт.

РЯБИНОВЫЙ ПИР

На пир рябиновый спешите, сойки.
Опять леса рубиново горят.
И песню осени прощально спойте
На пне багряном посреди опят.
Спешите же скорей,
Пока мерцают,
Как угольки костра, плоды рябин.
Пока на скрипках иволги играют...
А кто-то по тропе идет один.
Наверно, я,
Кому же быть другому, –

Прощанье чую, вот и в лес спешу.
Я приобщаюсь к празднику лесному,
Огня рябины я у птиц прошу.
И пир горой.
И хочется с улыбкой
Обнять рябину и сказать: «Споем...»
Бей, дятел, в барабан!
Плачь, иволга, как скрипка!
На пир рябиновый мы всех зовем.

ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Искушенной звездой пролети,
Мое сердце,
над миром безбрежным.
Все равно не уйти от тоски,
Все равно я не буду безгрешным.

Так качайте, качели, меня,
В синеву уносите тугую.
Я на склоне пасхального дня
Голубого Христа поцелую –

Поцелую я детство свое
И такую далекую веру.
И заплачу уже оттого,
Что теперь ни в кого так не верю.

СНЕЖНАЯ СИМФОНИЯ

Затерялась в поле ель
И береза стройная.
Ой, метель, моя метель –
Снежная симфония.
Звоны звонкие сейчас
Церковь шлет стозвонная.
Слышит путник этот глас
И моя симфония.

И заблудшему в пути
Этот звон – спасение.
Просыпается в груди
Чувство вознесения.
Ой, метет кругом, метет
Белое и черное!
Зло вороньи гнезда вьет
И ревет скоромное.
У метелицы полет –
До звезды, до космоса.
Космонавт с надеждой ждет
Праведного голоса.
И гремят колокола –
Это воля вечная.
В колокольный звон вошла
Песнь моя сердечная.
Ой, черемуха цветет
Белая и знойная.
И опять звучит, поет
Снежная симфония.

* * *

Загадочны нынче закаты –
Полнеба горит за Кондой.
И сосен пурпурные латы
Нас вновь восхищают с тобой.

Прими этот мир, дорогая,
Тоскующий мир о любви.
И плачет небесная стая,
И чувства светлеют твои.

Ах, мы не пропащие люди,
Коль есть милосердье в груди.
И мы никогда не забудем,
Как в небе пылают пути.

И наши порывы святые –
Я верю –
в дорогу возьмут
Те юные, те молодые,
Которые скоро придут.

ИСПОВЕДЬ ТАЕЖНИКА

Есть края таежных очищений,
Хоть ползком,
но доберусь туда.
От моих опасных треволнений
В сердце не останется следа.
Прикоснусь, как сын,
к дорожным травам
И к сосне, поющей под дождем,
И пойму,
что в мире есть отрава –
Деньги, обретенные враньем.
Ты прощай, мой особняк крикливый!
Жадность необъятная, прощай!
На заимке, в тишине залива,
Я обрел невыдуманный рай.

У СВЯЩЕННОГО КЕДРА

Сыну Ивану

Я в начале июня
как идол сюда прихожу.
Здесь косматые ели
ночами ведут ворожбу.
И белы, словно парус,
в Долине моей небеса,
У священного кедра
всегда – чудеса, чудеса.
Желтый бубен-луна
над вершиною кедра висит.
И призывно, ритмично в него кто-то тихо стучит,

Юча – фея тайги
в белой парке неслышно идет
И взмахнула руками –
у кедра уже хоровод.
В белых парках,
а может, в одеждах тумана они –
Феи бора?
А небо рассыпало всюду огни.
Очарованный этой картиной июня стою,
Словно временно я оказался в запретном краю.

Шесталов Иван Николаевич

ЯЗЫЧЕСКАЯ ПОЭМА

Слово перед дальней дорогой

Я проснулся… А в окошко золотым оленем заглядывает солнце. Из дверей золотой птицей летит солнце. Два веселых солнца сверкнули из дощатой будки – два собачьих глаза, и я бегу на их зов. Я бегу к реке. Там золотым язем плещется солнце!

Вместе с утками я ныряю в воду. Речная прохлада нежит мое тело. Руки воды – речные струи – такие теплые. Долго плещется солнце, почти круглые сутки играет в реке северное солнце. И я плещусь вместе с ним, благодарный ему за ласку и свет. И чайки, наверное, благодарны: они заливаются счастливым смехом. Из сверкающих струй чайки выхватывают рыбок и уносят их в тонких клювах. В тальнике гогочут гуси: га-га-га! га-га-га!

– Ветлю! Ветлю! – поет кулик.

И кукушка в роще щедро отсчитывает года счастья.

Сколько звуков, сколько жизни! Неужели все они когда-нибудь станут сказкой?

И, проснувшись однажды утром, я увижу вместо солнца яркое электросветило и не гогот гусиный услышу, а рокот железных машин.

Знаю: будет новое утро. Знаю: однажды я проснусь в новой сказке. Ведь только в новой сказке кроется новое чудо жизни! Новое чудо жизни…

Я иду по моей земле. Смотрю, слушаю, думаю…

Однажды я услышал песню филина

Рассыпая с веток иней,
Разметая снежный пух,
Это я, таёжный филин,
Возвещаю:
«Ух, ух!»
Мои крылья – облака,
Легкий лисий шаг метели.
Мои ноги – ветки ели,
А глаза как жемчуга,
Вам глаза свои отдам.
«Ух!» – с сосны я крикну вам.
«Ух!» – откликнутся снега.
«Ух!» – аукнется тайга.
Пусть же крик лесной души,
Что звучит в тайге от века,
В вас разбудит Человека.
«Это я, ух! Ух!» –
Хвойный лес звенит вокруг.
Белый пух,
Сосулек звон.
Лес качает небосклон…
«Это я, ух! Ух!»
Пусть глаза погаснут вдруг,
Все равно мой голос глухо
Будет ухать, ухать,
ухать…

Клянусь

Небом, землёй, огнем, водой
Клянусь!
Небо пусть упадет на меня,
В воде утонуть мне,
Увязнуть в земле,
Испепелиться в жгучем огне,
Не видеть свет золотого дня,

Веру сыновей-дочерей потерять,
Не наслаждаться игрою рыб,
Вечную мглу и темноту мне,
Если правду вам не скажу.
Небом, землей, огнем, водой
Клянусь!..

Чёрное море

1

Чего я не ведал?
Я не знал моря,
Зеленого моря,
Серого моря,
Лунного моря,
Черного моря.
Я не знал, что и здесь встречу шамана,
Волшебника и колдуна.
Он так играет моими глазами,
Что он вновь становятся наивными.
Как шаман играет!
Как словами, цветами радуги ослепляет.
И глаза мои, как идолопоклонники,
Заворожены тобою, игривое море.
И я уже твой!
И слепо верю, как манси богам верили,
Что море глубокое, как небо,
Которое я не держал в руках;
Стальное, как Луна, где я ещё не был;
Зеленое, как травы, которых я не косил:
Лилово-красное, как кровь, которую
я ещё не продлил;
Черное, как пушистый соболь,
Который хитрее меня.
А может, и вправду ты хитрее меня,
Мудрее меня, колдовистее меня
И любого человека на Земле?

Ведь все мы, как шальные,
Верящие в чудо,
Бежим к тебе, южное море,
Несемся, как олени,
Летим, как птицы,
Оставив за горами, лесами, степями
Родные гнезда.
О, наши родные гнёзда:
И конусообразные чумы
Среди мхов и синего неба,
И пахнущие соснами дома
С вырезными ставнями,
И каменные дворцы со стеклянными глазами,
Мы оставили вас
Ради этого моря –
То зеленого,
То лилового,
То лунного,
То голубого,
То серого,
То черного,
Черного моря.
И зачем мы, как опьяненные,
Мчимся к тебе?!
Неужели рядом,
В краю родном, нет чуда,
Достойного наших восторженных «ахов» и «охов»,
Которыми мы, ошарашенные,
Одариваем
Это высокомерное море,
Плещущееся день и ночь
У наших ног?!
А может быть, мы просто
Вечные идолопоклонники,
Привыкшие кланяться
Какому-то камню,

Дереву,
Морю,
Человеку,
Делая их святыми?!
И снова, и снова
Хотим верить не себе,
А ему, Волшебнику,
Кудеснику-исцелителю…
Кто ты, море?
Откройся!
Я не знаю тебя,
Как не знаю до конца самого себя…

2

Вода…
Я слышу её плеск.
Как в детстве, слышу.
Как в родной Оби моей,
Снова
Воду слышу:
Вот плещется рыба, попавшая в сеть.
Вот дикая утка хлопает крыльями.
Вот
Самолетиком пробежала гагара,
И звонкими брызгами плес зазвенел.
Вот
Хлопает, хлопает, хлопает –
Тяжелый и грузный купается лось, –
Замерли даже нервные деревья,
Заслушавшись,
Как фыркает довольная вода…
А здесь так много воды:
И глаза тонут в воде,
И синее небо
Тонет в воде,
И солнце,

Как рыба, попавшая в сеть,
Плещется, плещется в синей воде.
Горбатые горы, как старые лоси,
Подставили груди к синему морю
И слушают плеск его,
И нежатся в струях.
Нежности этой и мне не хватает,
И жаждут губы коснуться прохлады,
И от жаркого солнца,
Как от взгляда женщины,
Горячее тело мое
В объятья моря бросаю.
Дзи-нь!...
Что это??
Я слышу жужжанье?
Неужели опять меня жгут комары?
Ледяными жалами
Жалят меня.
Тысячью жал
Жалят меня.
Я леденею.
Слышу мозг в костях.
И не прохлада речная
На губах моих – морщусь,
Плююсь,
Как от степного чая.
Я обманут.
Дважды обманут:
Жаркое солнце
И ледяное море.
Хотел жажду утолить,
А пришлось – плеваться.
Красивое море,
Солнечный обман…

3

Есть у меня отец. Его боятся рыси, осетры и щуки. А он – не знаю, чего боялся, но одного подарка не принимал. Был он председателем колхоза. Лодки рыбаков его колхоза были полны серебряным сиянием нельм, золотыми язями и нежной сосьвинской селедкой…

С таёжных дебрей охотники несли пушистых соболей, куниц, белок… немая тундра оживила и цвела от колхозных стад оленей. Славно трудились, видно, колхозники.

Славен был и отец мой. Большие начальники дарили ему подарки. И он любил брать… только почему-то не брал он премию под таинственным для него названием «Черное море», которую ему преподносили каждый год.

– Это, наверное, ваш самый золотой подарок? – спрашивал отец своих начальников.

– Самый большой! – уговаривали те.

– Самую большую премию я возьму потом! – пел отец. – Сначала я возьму маленькие, которые мне даст моя тайга, недовольная мной, что я слишком долго командую и забыл лесные тропы. Свой отпуск проведу вместе с рыбками, которые хотят, чтобы я их поймал и принёс в жертву водяному духу. А ваше Черное море возьму потом, когда у меня будет время.

Но настало иное время. Ушел мой отец на пенсию, но не забыл про Черное море.

И помнит, как языческое заклинание, помнит. И хвалит перед сородичами, что есть у него чудо, какого нет у манси. И мечтает получить подарок, который принадлежит ему.

– Только стал я староват. Ноги слабее звериных стали. Не дойти мне до Черного моря. Съездил бы ты, сын мой, и посмотрел мой самый золотой подарок.

Вот я и приехал. И сонными глазами смотрю на Черное море. Подарок, не взятый моим отцом…

А какой же подарок, предназначенный мне, удастся увидеть лишь моему сыну?

4

Море, как юная женщина.
Ноги мои ласкает,
И солнечными устами целует без стыда,
И глазами синими
Глядит синими
Глядит непонимающе…
А я, как дикий олень,
На синие горы гляжу.

5

Я поднимаюсь в горы,
Скалы – каменные идолы,
Каменно глядят,
Как я карабкаюсь.
Споткнусь –
И сорвётся камешек;
Скалы хохочут, смеются.
Эхо уносит смех их
В темные ущелья,
Где ползают ужи
И квакают лягушки.
Эхо уносит смех их
В глубокрылое небо,
Где в ожидании добычи
Коршуны злые парят.
Я поднимаюсь в горы.
Ноги мои как камни.
И несу я словно
Сети мокрые на спине.
От жгучих ран кострами
Горят мои колени.
И только безногие глаза мои
Карабкаются все же вверх.
Скалы – каменные идолы –
Глядят на меня удивленно:

Мол, в тине болотной родившийся,
Как в горы подняться смог?!
А мне нелегко по скалам!
Голова моя кружится, кружится
И над пропастью камнем висит.
Но знаю одно, как заклятье,
Пока я иду, одинокий:
Вниз, как в темное прошлое,
Я не должен, не должен глядеть!..
И не буду вам, идолы, кланяться,
Как предки мои вам молились,
И курицу живую в жертву вам,
Как бывало, не принесу…
Глядите хоть, криво, хоть косо –
А я карабкаться буду
По каменным вашим мордам
К вершине ещё безымянной!

6

И вот на вершине я.
Усталый и гордый.
На скользких камнях я стою.
Рядом со мной мое Солнце.
А где же враги мои – тучи?
Неужели внизу там остались?
А может, они на мгновенье
Подарили высокий покой?
Пусть тучи где-то сгущаются.
И звери где-то рычат,
Но мне тридцать лет,
И с вершины на мир я гляжу
Уже не глазами охотника.
О прадеды, вы не простите,
Что вижу не только зверьё
И жадные рты идолов
Не мажу жертвенной кровью.

Отсюда я что-то вижу,
И сердце о чем-то болит.
Но труден был путь мой к свободе,
К этим слезам и прозренью.
Не раз на пути к вершине
Спотыкалась душа о камни.
И глядел я порою, не скрою,
На древних богов с неприязнью,
И вместе с моим народом
Новую жизнь создавал…
На новой вершине стою
И пою о сложном мире
(1962-1967)

Песнь первая

Пробуждение

Я проснулся. Рощи
Песни распевали.
Хохотали чайки.
Небеса сияли.

Двигались старушки,
Как девчонки, быстро,
И плескались стайки
Рыбы бахромистой.

Из дощатой будки
Выглянули разом
Два веселых солнца –
Два собачьих глаза.

Старые осины
С детворой шумели.
Щебетаньем птичьим
Небеса звенели.

Я проснулся. Сердце,
Что б такое спеть нам?
Мир, как я сегодня,
Стал тридцатилетним.

Есть такое у поэта…

В дни, когда пургою беды
По моей земле бродили,
Когда крысы были жирны,
Как в болотах комарьё,
В дни, когда отец мой в карты
Был проигран пьяным дедом, –
Зарождалось, зачиналось
Пробуждение моё.
Пробужденье до рожденья!..
Где воняло рыбой тухлой,
Где глаза, гноясь, болели
И тупел от водки ум, –
Наготу свою прикрывши
Недубленой шкурой жухлой,
Дед медведем черно-бурым
Уходил в таёжный шум.
А проигранный отец мой
Выл, скулил, как пес голодный.
Гнул он лук рукой ослабшей
Для хозяина-купца,
Рыб ловил, глотая слёзы…
Уж не тем ли днем холодным
Начиналось пробужденье –
Когда голод жрал отца?
Слёзы горя, слезы гнева
Растопили горы снега,
И на крыльях птиц весенних
Прилетело счастье к нам.
Зрело, зрело пробужденье!
И большое имя Ленин
Прозвенело над рекою,
Прокатилось по лесам!

… Пахнет ягодами ветер
Над рекой моей могучей,
И не волчьих глаз цепочка,
А огни в тайге горят.
Вот муксун, как юный месяц,
Полыхнул в сетях певучих.
Но вершины древних кедров
Мне поют на старый лад.
Мучит слух мне песня эта,
Жжет глаза мне дымом едким.

Есть такое у поэта
Право – помнить о былом!
Даже в полдень самый ясный
Я оплачу горе предков
И спою о беспокойном
Пробуждении моем.

Помню я плакал. В берестяной люльке плакал, со связанными руками рыдал, на солнце ревел, на небо орал. Солнце качает меня. Качает. Режет мне глаза и на жарких руках качает.

– Не качай меня, солнце! – может быть, кричал я.

– Не пали меня, солнце! – может быть, кричал я.

– Не слепи меня, солнце! – может быть, кричал я – Я ещё не успел ничего увидеть.

– Развяжи мне руки, солнце! – может быть, кричал я. – Я еще ничего не успел сделать.

А солнце смеется и еще сильнее качает. Жарче смеется, сильнее палит, острее режет глаза, и я реву. Громко реву на бессердечное солнце, на высокое небо. Откуда мне было знать, что солнце не слышит, а небо не поймет. И где мне было знать, что солнце мне дарило тепло и светло.

Разве мог я тогда понять, что качала меня река, такая же живая, кипучая, как люди и жизнь. И не знал, что я в берестяной люльке.

А берестяная моя люлька в другой большой люльке. Её качают волны, ее качают жизнь.

Хорошо, что в этой люльке моя мама. У нее красное весло с узором – лодка дальше плывет наперекор волнам. Красивое красное весло. И красивая у меня мама.

А почему все мамы такие красивые? – может быть, проклюнется мысль, осветив на мгновение сознание.

А грудь у мамы теплая, и молоко сладкое… И забудешь про солнце, не ревешь на небо…

Грудь у мамы теплая, и молоко сладкое.

Хорошо с мамой! – уже тогда чувствуешь.

Хорошо с мамой! – лишь потом поймёшь…

И ещё одну вспышку первого сознания сохранила память. Ночь. Теплая грудь. Сладкое молоко. Сказка…

Но кто-то чиркнул спичку – и засияла лампа. Яркий свет раскрыл мои глаза и зажег в них ужас: я сосал чужую грудь. Чужой мамы грудь.

– Почему молоко такое горькое и так холодно?! – может быть, кричал я. – Где моё, сладкое? Ма-ма-а!..

И она пришла. Вся сияющая и светлая.

– У тебя братец родился, – сказала она. – Черненький такой, вороной такой. Не понимаешь?! Наша старая лошадь жеребёнка принесла… Как его назовем? Черным ястребом? Да?! Будет у тебя братец, крылатый конь.

И захотелось мне увидеть моего коня. И опять сказка рядом со мной поскакала…

С мамы начинается Земля.
В люльке просыпается Земля.
В сказке продолжается Земля.
А на Земле – песни.

Спит в земле моя мать…

Дорогая земля, стылый северный край!
Ну какой мне дорогой идти, отвечай!

Спит в земле моя мать
И не слышит пургу.
Сердце сына – упавший орешек в снегу…
Злобный ветер меня
чуть со света не снес.
Хищной пастью меня
чуть не слопал мороз.
Как чудовище менкв[1] в рослый кедр высотой,
Снежный вихрь просвистел
над моей головой.
Уж не мама ль на кладбище
плачет во сне?
Танварпеква[2]-колдунья крадется ко мне,
Хочет ниток напрясть из мальчишеских жил.
Как сосновая шишка, упал я без сил,
Ослепили мой ум коротышки-божки.
Может, идолов этих
принять мне в дружки?
Но от них голова
Тяжелеет, звеня,
И в глазах, как метель, хороводит земля.
Где дорога моя? Я умею стрелять,
Но ни пулей, ни стрелами
менква не взять
И, как встарь, Танварпеква
пугает детей…
И тогда на извилистой тропке моей
Встала Русская Женщина,
молвив: «Пойдём!
Я сама позабочусь о счастье твоем».
Мне сердечное слово шепнула,
как мать,
Повела меня в школу, где учат читать,
Где метлой прогоняют из детских умов

[1] *Менкв* – в мансийской мифологии злой дух, людоед-великан.
[2] *Танварпеква* – коварная старуха, злой дух, который живет рядом с деревней.

Коротышек божков и лесных колдунов.
И набрал я весеннего воздуха в грудь,
И увидел я счастье, и выбрал свой путь.

Ты – глаза мои и сердце

Как клубок пушистой шерсти,
Покатилось в небе солнце.
Шумным танцем, шумной песней
Заиграл мотор на Сосьве.
Мама! Был твой век коротким.
Я хочу, чтоб стал он длинным:
На большой моторной лодке,
Видишь, мчится сердце сына?
Как река, ты здесь зачата,
И, как рыба, здесь росла ты.
Как черника соком спелым,
Лаской ты была богата.

Здесь незримыми руками
Рыб ловили сети наши.
Билась рыба плавниками,
Брызги – ярких радуг краше,
Словно россыпи росинок…
Мы уху с дымком и солнцем
Ели вон под той осиной,
Что вот-вот небес коснется!
А на том мысу, где сосны
Темной лентой мчатся в дали,
Мы бродили вдоль по Сосьве,
Юрких белок промышляли.
Был я чуть повыше лайки.
Ты, да я, да собачонка.
А снежинки белой стайкой
На ветвях сидели звонких.
Песней женскою старинной
Глушь лесная оглушалась,

И на песню сердце сына,
Словно эхо, откликалось.
Нам, как летом, было жарко.
Мама, мама, нет чудесней,
Нет бесценнее подарка,
Чем твои слеза и песни!
Ты – глаза мои и сердце,
Ты – печаль моя и счастье,
Ты учила сына с детства,
Чтобы жил он сердцем настежь.
Зная горе, счастье ценишь:
Ведь оно берется с бою
Тем быстрей и непременней,
Чем безрадостней былое.
Для людей твою я песню –
Много в песнях слез горючих,
Но ведь стало сердце песней,
И не стало сердце тучей!
На большой моторной лодке,
Слышишь – мчится песня эта?
Мама, был твой век коротким,
Словно северное лето…
Мне с утратой не стерпеться…
И тогда случилось чудо.
Врач сказал: «Умолкло сердце», –
А оно стучит повсюду:
В ветерке, в былинке тонкой,
Что к воде склонилось низко,
Словно женщина к ребенку,
Нежно-нежно, близко-близко!
В каждом вздохе, в каждой мысли
Ты всегда, всегда живая,
Как невидимая Миснэ[3]
Моего лесного края.

[3] *Миснэ* – в мансийской мифологии добрая лесная фея. Миснэ в понимании манси воплощает в себе все положительные качества, которые свойственны человеку.

Едва на свет рождаемся…

Едва на свет рождаемся
О нас гадают матери.
Едва на свет рождаемся,
Желают нам они,
Чтоб на земле заснеженной
Недаром силы тратили,
Добыча не скудела чтоб
У нас и у родни.
Пусть станут ноги длинными,
Догонят зверя быстрого,
Пусть станут руки юркими,
Чтоб изловить сырка,
Пусть те края разведаем
И в тех сраженьях выстоим,
В каких отцу и матери
Не быть наверняка.
Кричит ребенок тоненько.
Не крик – визжащий ножичек.
Пускай, пускай докличется
До счастья человек.
Ребенку дальше матери
Врубить в жизнь положено.
Ему продлить положено
Короткий женский век.
… Так нам порочат матери,
Большие думы думая.
А мы?
Какой дорогою
Пойдем мы по земле?
Какие тропы выберем –
Безлюдные ли, шумные?
А может, затеряемся
В уюте и тепле?
Едва на свет рождаемся,
О нас гадают материи…

Помню слово матери

Слушай слово матери,
Мой сыночек милый.
Твои ноги быстрые
Не я ли сотворила?
Зоркие глаза твои
Не я ли затеяла?
Руки твои сильные
Не я ли взлелеяла?
По тропе нехоженой
Пусть шагают ноженьки,
Сильных догоняют,
Слабых не пинают.
И еще запомни ты
Заповедь такую:
Кто других обкрадывает –
У себя ворует;
Кто разинет рот свой
На чужую кашу,
У того не руки –
лапы росомашьи.
Руками работай
Проворно, старательно –
И тогда уважут
Люди имя матери,
Ох и засверкают
Светлей, чем алмаз,
Черные черемушины
Материнских глаз!

Кто я?

1

Взлетает в небо солнце
На золотистых крыльях,
Чтобы тянули руки
К нему лесные кедры,

Чтоб улыбались кедры
И таял, таял снег…
В реке гуляет щука,
Зубастая злодейка,
И к берегу подходит,
Чтоб телом полосатым
Укрыться в полосатых
Прибрежных камышах.
И юркая плотвичка
Бежит по струям быстрым,
Бежит она и знает,
Что есть на свете щука
И от зубастой щуки
Ей надо убегать.
В лесу клювастый дятел
Стучит, как молоточком,
И ловит под корою
Червей сосущих соки
Из молодых стволов.
Медведь, мой хищный предок,
Налопавшись черники,
На дерево влезает
И караулит лося,
Чтобы на спину лосю
Негаданно упасть.
Зовется солнце – солнцем,
Зовется щука – щукой.
Зовется дятел – дятлом.
Плотва – плотвой зовется.
Медведи – медведями.
Я улыбаюсь солнцу,
Я охраняю дятла,
Ловлю сетями щуку,
И если убиваю
Мохнатого медведя, –
То на медвежий праздник

Вины во искупленье
Зову друзей и близких
Так кто же я такой?

2

Кто я?
Старинная сказка
Так про меня говорила:
Будто сидит меж плеч
Рот разговорчивый мой.
Плечи снуют, словно челюсти,
Очи, как два полумесяца,
Не на лице моем светятся,
А на груди ледяной.
Лютой зимой становлюсь я
Хмурым заснеженным кедром.
Деревом белым таежным
Я леденею и жду,
Чтоб улыбнулось мне солнце
Женщиной доброй и нежной, –
И оживу я, согретый,
Словно лягушка в пруду.
В шишках моих просмоленных
Вкусные зреют орехи,
Бьется, стучит мое сердце
Под узловатой корой.
Сказано в сказке, что летом
Стал я опять человеком.
Звали меня югорцем,
Землю мою – Югрой.
Был я несметно богатым,
Горы блестящего золота
И драгоценных каменьев
Были в моем краю.
Соболи, белки мохнатые
И молодые олени,

Словно снежинки, валились
С неба на землю мою.
С первым метельным снегом
Снова я делался кедром.
Но перед тем, как замерзнуть,
Звал я к себе людей.
Все, что взросло на ветках,
Все, что созрело в сердце,
Все, чем богат, выкладывал
Людям: бери, владей!
Шли купцы издалека,
С запада и востока,
И за мои богатства
Разно платили мне:
Очень любил я честных –
Лишку давал им щедро,
Больно хлестал нечестно
Ветками по спине,
Буйствовал и гремел я,
Правого гнева полный,
И превращался ствол мой
В вихрь колючих молний,
Кто я?
Был я когда-то
Вьюжной страны язычником,
Веровал в Золотую
Женщину Сорни-най.
В жертву ей, ненасытной,
Я приносил оленей –
На вот, бери рогатых!
Щедрость мансийца знай!
И на снегу подталом
Кровью чертил Урал я,
Скалы скуластолицые –
Вьюжной земли столицу.
Кто я?

Прилежный школьник,
Мальчик из интерната –
Здесь я впервые увидел
Знаки премудрых книг.
Песнями и сказаньями
Наши края богаты,
Но не имел он азбуки,
Наш золотой язык!
Кто я?
Внучок Ленина!
Спасибо дедушке Ленину
За то, что могу сейчас
В строчках стихотворений,
Грудь распахнувши настежь,
Выложить сердце – нате!
Бьется оно для вас!
Спасибо дедушке Ленину,
Что я – таежная речка,
Бегущая к океану
По доброй моей стране,
Что песню той речки слышит
Белый, желтый черный…
Спасибо дедушке Ленину
За то, что солнце во мне!

3

Я – человек.
Значит, должен я думать:
Так называться даны ли права мне?
Там, где сейчас островерхие чумы,
Дом я сумею построить из камня
Там, где полнеба в полярном сиянье,.
Реки холодные вспять поверну я,
Чтоб гидростанция теплым дыханьем
Грела сибирскую землю родную,
Чтобы в таежной нахмуренной чаще

Очи Сибири сияли от счастья.
Я – человек.
Захочу – и отныне
Станет земля… молчаливой пустыней…
И по обугленным хрупким каменьям
Люди – бестелые привиденья,
Алые, с блеском безумья на лицах –
К огненным рекам пойдут вереницей.
Тот, кто придумал кошмар Освенцима,
Тоже считал себя человеком.
Тот, кто придумал пожар Хиросимы,
Тоже считал себя человеком!
Я – человек,
Перед именем этим
Быть мне пожизненно в строгом ответе!

Город

Он глаза слепил
И гудел, как улей;
Он вертел, кружил
В суматохе улиц.

Я впервые в нем…
Вот летят машины –
Фары бьют огнем
Ярче глаз звериных.

Солнце длинных кос
В небесах не чешет –
Только дыма хвост
Да металла скрежет.

Высотой дома
В снеговые горы,
А народу тьма,
Словно рыбы в море.

Он глаза слепил
И гудел, как улей;
Он вертел, кружил
В суматохе улиц.

Я впервые в нем…
Я глазел и слушал…
Вот сейчас он дом
На меня обрушит!

Вот поток машин
На меня наскочит.
Шорох быстрых шин
Снился даже ночью…

То звонком шальным,
То горящим глазом,
То гудком хмельным
Испугал не раз он.

Ни реки лесной,
Ни лесного хора:
Красотой какой
Дорог людям город?

Он шумел, спешил,
И не знал еще я
Ни его души,
Ни его героев.

До поры таясь,
Он слепил сияньем:
Он плясал, смеясь
Над моим названьем.

Сказка

Моя белая сказка!
Ты приснилась мне в сером тумане,
Там, где мчатся такси
И по-волчьи сверкают глазами,
И сминают мне сердце,
Которое – слышишь? – не камень?
Застонал я, заплакал…
Но ты появилась внезапно.
Стало розовым небо,
И ливни иссякли до капли,
И туман посветлел,
Словно взгляд добродушный и синий.
И оленями добрыми
Встречные стали машины.
Унесли они в сказку меня,
В мою белую сказку.
Ту, которую трудно придумать,
Моя синеглазка!...

Здравствуй, каменный город

… И вдруг свои слышу имя!
Да кто ж его спел так плавно?
Неужто же это небо,
Опутанное проводами,
Оглохнувшее от шума,
От лязгающего шума?
Неведомо этому небу
Певучее имя Юван…
Да кто ж это спел протяжно
И ласково имя Юван?
Неужто это деревья,
Шагающие панелью,
Плечо к плечу с горожанами,
С торопкими горожанами?
Деревья, растущие рядом,

Не знают своих соседей.
Но кто-то меня окликнул,
Окликнул меня по имени…
И пусть я не знаю голоса,
Загадочного голоса
Работницы ли фабричной,
Вахтера ли, продавщицы, –
Но сердце забилось рыбкой,
Но сердце запело птицей…
И стали дома домами,
И стали деревья деревьями,
А небо, а небо города –
Приветливым синим небом…
Ну здравствуй, каменный город,
С глазами синими город!

Перед грозой

Солнца луч, у берега играя,
Ткет на волнах радуги шитье;
Но звенит неугомонной статей,
Обещающая бурю, комарье.

В тихом зеркале реки глубокой
Неподвижный отразился лес.
Всплыли рыбы – любопытным оком
Оглядеть голубизну небес.

Тишина, узоры дальних молний,
Брызги солнца, радуга и ты –
Все слилось в едином миге, полном
Ясной и прозрачной красоты.

Комарье жужжит и жаждет крови,
Комарье звенит и хочет гроз;
Хочет, чтоб нахмурила ты брови,
Чтобы задохнулся я от слез.

А у наших ног играет, вьется
Рыба, обнажая плавники,
И глаза твои теплее солнца,
И душа моя светлей реки…

Видишь, лиловеют неба краски
И огонь в глазах у облаков.
Плачут травы, и в медвежьей пляске
Волны у далеких берегов.

Дикий танец волн все ближе, ближе,
Все надсадней комариный гам.
И ресницы трав все ниже, ниже…
Неужели расставаться нам?

Снова сердце бьется

В дни, когда не знал я,
что такое счастье,
Спорил я с грозою
на калданке быстрой.
Бил калданку ветер
на волнах кипящих,
И грома из неба
высекали искры.
Лютым зверем лодку
искусали волны
Белые, как пена
на губах шамана.
Под слезами тучи,
под кнутами молний
Бредил я, мальчишка,
берегом желанным.
Словно пух утиный,
прыгало под громом
Маленькое сердце
в бессердечных водах.

Но стремилось сердце
к берегу родному,
Где леса синели,
обещая отдых.
И рукою слабой,
как крыло гусенка,
Я в весло вцепился,
превозмог усталость.
И налег на бурю
всей моей силенкой,
И помчалась лодка –
к берегу помчалась.
Повзрослев, узнал я,
что такое счастье:
Я слагаю песни
для земли родимой.
Я сшибаюсь грудью
с бурею свистящей,
Потому что тучи
не проходят мимо.
И когда посмотрят
злобными зрачками,
И когда нацелят
огненные стрелы,
И когда сражаюсь
я с клеветниками,
Что желаю раны
из царапин сделать, –
Снова сердце бьется,
как бывало в детстве.
В сердце зрею силы,
сердце счастью верит.
Пусть бывает трудно –
есть у сердца средства
Из волны и мрака
вырваться на берег.

Ой, легенды, что вы врете!

Говоря, мы в чумах жили,
Что мышиных нор чернее,
Рыбью кровь со смаком пили
И не знали яств вкуснее.

Мясо ели, мол, сырое,
Будто волки и лисицы.
Как смолой, тягучим гноем
Были склеены ресницы.

Где туман, как привиденье,
Над болотной бродит гнилью,
Комары противным пеньем
Будто нас заворожили.

Ой, легенды, что вы врете!
Вы совсем уже не правы.
О моем лесном народе
Сколько нынче песен славы?

И тайга полна молвою,
Что лесного меда слаще.
Электрической звездою
Загорелось в избах счастье.

У меня есть много братьев –
Врач, учитель и ученый.
А в колхозе председатель –
Мой отец неугомонный.

Я, поющий песню эту
В лад с таежными ветрами,
Разве мог бы стать поэтом,
Если б вырос с дикарями?

Если б солнечную ласку
Я в глазах людей не встретил,
Где бы взял я светлой краски,
Чтобы петь мне песни эти?

Не поздно родился я

Не видел живого Ленина
Я, слишком поздно родившийся…
Но не был он только именем,
С детством моим сроднившимся,
И не был он духом языческим,
В дому моем поселившимся…
Не помню того мгновенья,
Верней, остановки времени,
Когда сквозь мое сознание
Проклюнулось имя Ленина.
Не помнится мне, не помнится
Тех бликов и нитей солнечных,
Что пали, как озарение,
На день моего рождения…
Но были они так властны,
Что рухнула тьма полночная.
Но были они так ласковы,
Как матери грудь молочная.
А дальше – все явственней вещи,
Все ярче и крепче память:
Вот рыба живая плещется
Упругими плавниками,
А вот строганину свежую
Нарезала мать ломтями…

А может быть, имя Ленина
Не память мне подсказала?
А может, оно мне на сердце
С весенних небес упало
Нежней лебяжьего лепета…

(Вы слышали песню лебедя?)
А может, ручей журчащий
Навеял мне эти звуки,
А может, материнские
Мне их подарили руки?
О нежная песня матери,
Где рыбкою радость плещется!
Весна полноводная, вечная
Мне песней этой обещана!
Взломавшая лед на реках,
Мужает страда весенняя –
Там мужество человека
Растит во мне слово Ленина!
С ребячьих лет приобщился
Я к мыслям, струящим свет.
Нет, я не поздно родился!
Не поздно! Слышите? Нет!

Сон

Словно клинок мне врезался в тело,
Словно до срока осиротел я,
Словно мне ворон выклевал очи, -
Так мое сердце плакало ночью.
Прыгало сердце раненой рыбой.
Горе на сердце – каменной глыбой:
Ночь без пощады.
Мрак без луны.
Давят и душат сны…
Вижу – вломилось скопище пьяниц.
Вот затевают бешенный танец.
Вот разевают смрадные рты.
«Выпьем», – хохочут.
«Выпьем, – горланят, –
Выпьем еще!
А ты?»
Спятили птицы, рыбы и звери,

Выбиты окна, выбиты двери.
Хохот и слезы.
Пьяный галдеж.
Молнией блещет нож.
Так этой ночью плакало сердце,
Словно сейчас вот умер отец мой…
Кружатся люди, пляшут спьяна
Танец ножа и вина.
… Плещутся рыжие гривы огня,
Падают бомбы, и все на меня.
Дым над домами тучей клубится.
Боль исказила лица…
Вопли и стоны,
Ночь без надежды…
Мертвые люди в белых одеждах
Мучатся в трудном пешем пути,
Чтоб через море
К далекому раю
По волосам[4] дойти…
Сердце металось,
сердце болело…
Мертвые люди в саванах белых…
Как я хочу,
чтоб земля зеленела!
Синее небо! Ясные ночи!
Плещутся рыбы!
Гуси гогочут!
Тихие звезды!
Солнечный свет!
Мертвые люди?
Нет!
Нет!
Новое солнце греет меня,
Ленина сердце греет меня.

[4] При погребении манси клали в могилу человеческие волосы, чтобы умерший, связывая их, как по мосту, смог дойти до рая.

Синее небо,
Ясные ночи.
Лес зеленеет,
Гуси гогочут…
Пьяные люди в мертвом огне,
Тучные нивы в мертвом огне…
Как хорошо, что все это было
Только во сне… Во сне!

Жить, жить, жить…

Кто говорит что народ мой умрет
Или растает, как вешний лед,
Или вода с берегов его смоет?
Кто говорит такое?
Кто говорит, что под снегом холодным
Насмерть замерзнет песня народная
И даже ветер – странник болтливый –
Вспомнить не может ни слов, ни мотива?
Эй, подожди хоронить меня!
Лед исчезнет в пасти огня.
Воды покроются коркою льда.
Я – человек, я – не лед, не вода!
Я – человек… И когда-нибудь тоже
В землю сырую меня положат,
В землю навечно положат…
Нет!
Не для того я рожден на свет.
Лед исчезает в пасти огня.
Воды покроются коркою льда.
Я – человек, я – не лед, не вода!
Кто там посмел хоронить меня?
Пока на земле не умрет клевета языкастая –
Буду я жить, жить, жить!
Пока не подохнут в лесах комары-кровопийцы –
Буду я жить, жить, жить!
Пока не одену я всех в соболиные шубы –

Буду я жить, жить, жить!
Пока не помчится мой сын на другую планету –
Буду я жить, жить, жить!
Пока не родит мне десяток внучат моя дочка –
Буду я жить, жить, жить!
Пока не волью в мои песни старинные слезы народа –
Буду я жить, жить, жить!
Пока не вплету в семицветную радугу мысли народа –
Буду я жить, жить, жить!
Пока от любви, словно лось молодой, не погибну –
Буду я жить, жить, жить!
Если же так – то умрет ли народ мой, скажите?
Буду я жить, жить, жить!
Или растает народная песня, скажите?
Вечно ей жить, жить. Жить!
Или земляне повымрут на нашей планете?
Вечно им жить. Жить, жить!
Или в крови у землян не останусь я каплей горячей?
Буду я жить, жить, жить!
где-то под солнцем эры чудесной
Жить я останусь кровью и песней,
Я – кареглазый, я – смуглокожий!
Манси – с собою, сегодняшним, схожий!
Спорщик задиристый с голосом звонким!
С сердцем отзывчивым, как у ребенка.
Нежный узнает нежность мою.
Злобный узнает твердость мою.
Буду как солнце. Буду как лед.
Будут в землянках жить мой народ.
В плоти землян повторяясь стократно,
Будет он жить, жить, жить!
В счастье землян повторяясь стократно,
Будет он жить, жить, жить!
1957-1967

Песнь вторая

Звери

Мне приснилось:
Я делаю лыжи
Широкие.
Вот-во они заскользят по снегу.
Уже сверкает их золотистый
Лосиный камус!...
Мне приснилось:
Я бегу за зверем!
Но на ногах звериных он уносит шкуру!
Я бегу за зверем
И слышу, слышу, слышу,
Как он храпит,
Как лязгают его зубы,
Как он хохочет надо мной,
Завернувшись в злую шкуру…
Он схватит меня,
Если я остановлюсь,
Я гоню, гоню, гоню зверя!
Но не разглядеть его лица мне:
Пока зверь жив
Лицо свое он прячет.
Кто же там впереди
Мне строит рожи?
Росомаха, или лиса,
Или сам медведь?
Я клянусь головой,
Что на праздничный стол
Водружу голову того,
Кто меня там дразнит впереди!
Я устрою семидневный
«Медвежий праздник».
Я сердцем знаю:
Зверя надо гнать!
Только остановись –

И застынешь на месте, как дерево…
Зверь раздует ноздри,
Поднимет уши…
Чего ему бояться дерева?
Оно только пошумит на ветру,
И зверем станет зверь.
Он зубастый,
Когда нет погони.
А если ты в черные глаза зверя
Будешь смотреть
Сверкающими зрачками пяток
И быстрые ноги будут думать за тебя,
Не спасут тебя духи:
Покидают бегущих боги,
Настигают бегущих звери!
Мне приснилось:
Я сделал лыжи.
Их золотистый камус
Уже несут на крыльях
Крылатые снежинки.
Мои капризные боги,
Все время приносящие жертв,
Со мною.
Они тоже гонят зверя.

Медвежье игрище

Тулыглап, тулыглап…
Что такое «тулыглап»?
Тулыглап –
Это след медвежьих лап?
Этот древних лет обычай
Жив на Севере моем.
Эти песни мы поем,
Возвратившись в дом с добычей,
Сквозь пургу и завируху,
Сквозь века и тишину,

Слышу, слышу чутким ухом
Вздыбленную старину:
И скользит перед глазами,
Пред чуткими ушами,
Сонь ночную песней дразнит,
Вихрем плясок воздух режет
Наш лесной мансийский праздник –
Игрище медвежье.

По тайге летают сказки,
По тайге легенды бродят,
Как охотники медведя,
Встретив, хитростью «низводят».
В деревнях расскажут манси,
Как медведя «опускают».
Но никто сказать не смеет,
Что медведя – убивают…
«Низведен» медведь, «опущен» –
Он поддался ненароком, –
Голова его большая
На столе сидит широком.
И тогда его мужчины
Как героя восхваляют,
Духом леса называют,
Куньей песней развлекают,
Птичьей пляской провожают,
Как налима – осуждают,
Словно женщину – пугают,
Будто пса – его ругают,
Всяким штукам обучают,
Слово ласки говорят,
Щиплют, бьют, бранят, корят…
…Вот тайга под жарким солнцем
Начинает зеленеть.
По таежным по увалам,
По чащобам, по завалам

Бродит грузный
Медведь.
Но когда лесного зверя,
Лугового злого зверя
На рогатину подденут
Или из ружья застрелят
Наши манси-силачи,
Тулыглап – Медвежий праздник
Начинается в ночи.
Семь седых веков суровых
За ночь мимо проплывет…
Видишь:
Жизнь таежных манси,
Жизнь охотников таежных
В плясках огненных встает.

Тулыглап…тулыглап…
Что такое «тулыглап!?
Может, след медвежьих лап?
Может, песня?... Может, сказка?...
Может, хитрая побаска?..
Может, сон, может, храп?
Все же
Что же,
Что такое
«Тулыглап»?

Ты постой, постой, не злись…
Утки стаей пронеслись…
Закряхтела, загудела
Под ногами мать-земля…
Ты постой, постой, послушай –
Пусть твою встревожат душу
Жилы-стоны,
Струны-звону
Журавля!

***

Кен-кеным[5],
Кен-кеным.
Дзин-дзон,
Стук-бряк,
Синиц дым.
Черный дым.
Начинаю песню так:
«Жилистый журавль мой,
Играй – комаром пищи,
Пургой завывай,
Засвисти щеглиным свистом,
Закатись ребячьим визгом,
Медведем реви,
Росомахой рычи,
Громом греми,
Чайкой кричи,
Грустящей девушкой вздыхай –
Величие сердца
Народа моего воспевай!»
Кен-кеным,
Кен-кеным.
Дзин-дзон,
Стук-бряк.
Ог-ой…
Пой, журавлик мой,
Пой!

Песня журавля

Долгую зиму с иголками инея,
Вечную зиму с горами льда,
Я, Журавль, сижу в священном мире,
В океане священном с золотою водой.
От золотых капель руками моим тесно.
От священной воды ногам моим тесно.

[5] *Кен-кеным* – звукоподражание вроде русского «трень-брень».

Слухом своим журавлиным
Ловлю тишину.
Слышу:
С каждым новым восходом солнца
В южном море крылатых все меньше и меньше.
Понимаю:
Когтистые птицы – мои подруги
Полетели птицы в трижды воспетую землю,
Где проклюнутся из пестрых скорлупок
Наши дочери и сыновья…
Золотой честности день приходит.
И тогда я, Журавль, поднимаюсь над морем,
Я семь раз кружусь,
Как луна вертится, –
Чтоб любовь свою показать священному морю.
А потом долгоносый свой нос журавлиный
Повернул я к далекой земле-отчизне,
Где родятся, крепнут и подрастают
Серокрылые и долгоносые
Наши дочери и сыновья.
Полетел я, Журавль, на родимый Север…
Я семь дней летел, семь ночей летел я
Прилетел на свою родимую землю.
Опускаюсь я на глухое болото –
Лось могучий стоит там, как каменный идол.
Тут я лося-быка, распаленного страстью,
Как умею, развеселить стараюсь:
Перед лосем печальным пляшу свои пляски
И дарю ему веселую песню.

Нахожу я верховье таежной речки…
Дальний путь пролетевшее без передыху,
Жаждет пищи мое журавлиное сердце:
В речке рыбок ловлю, ловлю я букашек,
Очень вкусных жучков с разузоренной спинкой,
Лакомлюсь на бережку морошкой.

Замышляю построить гнездо большое.
Я, Журавль, гнездо камышовое сделал,
Чтобы было где расти моим детям.
Два красивых яйца в гнездо положил я –
Днем сижу на них и ночью сижу я.
Здесь застал меня, на гнезде сидящим,
Человечек смешной с обрезанным пупом.
Взял меня он песнею, с губ спорхнувшей,
Взял меня он льстивою песней,
Что на кончике языка плясала:
«Ах, Журавль мой милый. Журавль крылатый!
Ты, наверно, решил, что сидишь в чумане,
В небольшой посудине из бересты,
Куда даже мальчишка не уместится?!
Оглянись:
Ты сидишь в избе человечьей,
Посередке грязного пола сидишь ты…
Уж не очень ли важно ты здесь расселся?!
Погляди напротив:
в углу почетном
царь тайги сидит – Медведь черно-бурый!
Восседает он, твой звериный братец,
Восседает он на столе широком,
Восседает в счастье тонкого шелка,
Восседает в счастье сукна дорогого…

Ах, Журавль, Журавль, неумная птица,
Отбирай у Медведя соболиное счастье,
Отбирай свою шелковую долю!
Ты выклевывай звезды – глаза медвежьи,
Ты выщипывай уши – пеньки сухие!
Расплескай озерные яства с чумана,
Разбросай с чумана речные яства!»

Я разбрасываю яства с чумана,
Я выклевываю звезды - глаза медведя,

Я выщипываю пеньки – уши медведя,
Словно дверь закрытую отворяю:
«Люди! Люди!
Дитя мое защищайте, –
Журавля по жилам – по струнам бейте!»
Халь-халь-халь!»
Бить руками меня начинают.
Поль-поль-поль! –
Щиплют жилы мои до боли.
И звенит моя каждая жилка, как ветер,
Словно ветер, звенит моя каждая струнка, –
Журавлиный мой голос песни выводит.
Люди пляшут под песни мои, как волны,
И моим заливистым звончатым звоном
Веселят лесные сердца свои люди.

Голова Медведя

Скачут люди, пляшут люди
На затоптанном полу…
Голова медведя смотрит
Со стола в своем углу.
Не лежится ей, не спится –
Черный глаз ее косится.
Из избы наружу рвется
Песни огненный мотив…
Ухо черное сторожко
Ловит песен перелив.
Голова черным-черна,
На людей глядит она.
Шерсть стоит у зверя дыбом.
Кости белые болят.
Слыша черные ушищи
Все, что люди говорят.
По-над крышей ветер рыщет,
Красный бисер на ушищах…

Слышит, слышит голова
Человечьи слова.
«Что вы делаете, люди?» –
Тонкий голос говорит.
«Мы медвежий танец пляшем!» –
Кто-то там в ответ басит.

И кривляются-смеются,
Бьют друг дружку под бока
В белых маках из бересты
Два носатых чудака:
«Что за зверь, медведь?...»
«Не угодно ли поглядеть?!»
«Зверь твой черный, страшный, грязный,
Злой, вонючий, безобразный.
Вот у нас в подворье звери:
Словно цацки, хороши!..
Я начну хулить медведя,
Стану я ругать медведя
В песне ото всей души!
Буду грубыми словами
Злого зверя обзывать!
Буду дерзкими речами
В черном зверстве обличать!
Должен огрубеть,
Загреметь
Голос мой!.»
«Коль умеешь петь,
Пой!»

Хула на медведя

Его лапы –
кривые лопатки,
которыми женщины роются в грязной остывшей золе…
Его очи –
пустые консервные банки с вонючей водой,

что валяются на замшелой скале…
Рот его –
осклизлая темная яма, в которую сыплют дерьмо,
льют помои в грязь, – все смердит в этой черной и мерзлой мгле…

А наши звери – хороши,
Мы все не чаем в них души,
Уж таково-то хороши:
Гляди и не дыши!
Наступит солнечный денек –
Все звери сядут на пенек,
Их спины золотом горят,
Они сидят и говорят:
«Лягушки наши, ей-же-ей,
Медведя нашего милей.
А наш медведь
Горазд реветь.
А не на т и посмотреть.
Ат-ат!
Ат-ат!
Ат-ат!»

Дума медвежьей головы

Лучина треск и пых,
Потемок пелена
И лиц берестяных
Два белых пятна.
Прерывист, жарок дых,
Бранчливых слов не счесть,
С ягушек меховых
Летит клоками шерсть.

На небе – ни звезды.
Чернил чернее ночь.
Кривляясь, из избы
Уходят маски прочь.

Вся горница в думы,
Вдали кричит сова.
Глядит в ночную тьму
Медвежья голова.
Ей слышен шум травы
И плещущий ручей,
И думы головы
Одна другой мрачней:

«Я не пойму людей,
Мне их поступки странны:
Зачем душе моей
Они наносят раны?
О горя черный ад,
Ты не прольешься мимо, –
Они меня бранят,
Как скользкого налима,
Хуля меня, кляня…
А в чем моя проруха?..
Зачем тогда меня
Они считают духом,
Жгут в честь мою огни,
В делах удачи просят,
Мне молятся они
И Жертвы мне приносят?
Столкнутся ли с бедой,
Согнутся ль от кручины –
Тогда передо мной
Они сгибают спины.
Но лишь беда пройдёт,
Кручина их оставит –
Всяк на меня плюет
И всяко худославит…
Живешь ты, то – грубя,
То – ластясь, то – переча…
Я не пойму тебя,

Отродье человечье!
Каков же ты?.. Каков?..
Ты подл иль благороден,
Правдив иль блудослов,
Что ни на что не годен? –
Ты слаб или силен?
Ты добр иль бессердечен?
А коль ты в жизнь влюблен,
Ты смертен или вечен?
Ах, это ни к чему…»

…Опять кричит сова.
Глядит в ночную тьму
Медвежья голова.

Молитва

Нашу мягкую молитву,
Что мехов собольих мягче,
Перед кем мы здесь расстелем?
О кружащийся, как ветер
В мировых семи пределах,
Совесть мира, страж Вселенной,
Друг людей Мирсуснэхум!
Ум твой, легкою снежинкой
Падающий на землю,
Пусть к нам в избу упадет!
Нашу жаркую молитву
Пусть твое услышит ухо,
О целящей боли мира:
Золотую чашу дедов,
Чашу, из которой ели
Семь охотников-мужчин, –
Чайка хитрая украла,
Горе, горе бедным манси!
Немощных людей потомки,
Где и как теперь найдем мы

Золотую чашу счастья?
Черных семь ночей ненастных,
Семь седых веков мы ищем
Чашу эту и не можем,
Как ни бьемся, отыскать.
Может, в землю провалилась?
Может, спрятался на небе
В дождевых колючих тучах,
Что пасет в небесной тундре
На седьмом живущий небе
Нуми-Торум, бог богов?
В избу, полную народа,
Падающей снежинкой,
Дуновеньем легким ветра
Упади хоть на мгновенье,
Прилети на миг единый,
Дух людей Мирсунэхум!
Сыновья твои лесные
Взор к тебе свой обращают,
Плачутся соленым плачем,
Молят сладкою молитвой:
Вора чайку излови!
Если ты ее поймаешь,
Если ты вернешь нам чашу,
То тебя мы не забудем,
Будем мы тебе молиться –
Ночью, днем, зимой и летом –
Сколько будет мир кружиться!
Коли жертву ты захочешь –
Принесем тебе мы жертву
И последнего оленя
Для тебя сейчас заколем!
Прикажи:
По липкой грязи,
Извиваясь, словно черви,
Станем ползать мы на брюхе,

Ниц упав у ног твоих!
Белой шерстью, алым шелком
Рукава широкой шубы
Разошьем и разукрасим.
Воротник твоей одежды
Мы узором разрисуем.
И, пока не сложим в землю
Мы голов своих косматых,
Никогда мы не устанем
Украшать твою одежду!

Помоги нам,
Пособи нам:
Вора чайку излови!

Вторая дума медвежьей головы

За убранным столом сижу
С охотниками наравне,
На яства жирные гляжу,
Щекочет запах ноздри мне.
Ох, только б запах вкусных блюд
Мой ум звериный не убил,
Огней мельканья пестрый зуд
Мне зоркость взгляда не затмил.
Молитв, похвал нестройный гуд
Мой чуткий слух не оглушил…

Головушка моя, держись,
Устало к полу не клонись
И не боли от трудных дум, –
Пусть мой звериный цепкий ум
Все тайны распознает,
Смысл жизни разгадает!

Я гляжу в людские лица –
Люди знают. Как молиться:

Жертвы идолам приносят,
У богов подачек просят,
К небесам возносят зов, –
Сыплют яркий бисер слов,
Плачут, упадают ниц,
Превозносят важных лиц,
Перед силой гнут главу,
Топчут робкую траву.

Танец чайки

В переполненную народов избу вбегает Чайка. Хватает со стола сияющую чашу – и за пазуху прячет.

За Чайкою вслед Мирсуснэхум, всевидящий дух, появляется в избе. Он на деревянном белом коне, гремя колокольчиками, гонится – мчится за Чайкой. Скача, спрашивает у людей:

– Когда здесь Чайка прошла?

Люди говорят:

– Семь дней тому назад проходила мимо нас Чайка.

Мирсуснэхум подгоняет коня, скачет быстрей и быстрей, на одной ножке подпрыгивает, напевая:

«Золотую чашу,
Которая кормит народ мой,
Серебряную чашу, Которая кормит народ мой,
Похитила Чайка!
Конь мой!
Белый конь с пестрыми боками,
Конь мой,
Зверек мой,
Быстрей скачи, быстрей!»

Скачет Мирсуснэхум и опять спрашивает:

– Когда прошла Чайка?

Сидящие на полу говорят:

– Вчера прошла…

И опять скачет он, пляшет и напевает:

«Как иссякшая таежная речка,
Живот моего бедного народа высох.
Сердце народа жаждет пищи…
Богатую чашу с народной пищей
Чайка украла!»

Скачет и скачет Мирсуснэхум. Вот уже он видит Чайку. Мчится быстрей его конь.

Догоняет Чайку Великий Дух. Настигает Чайку Великий Дух, гонит и бьет её.

Падает Чайка.

Мирсуснэхум из-за пазухи Чайки выхватывает-вытаскивает сверкающую чашу.

– Вот ваша чаша! – кричит он народу и бросает чашу прямо в руки людей.

– Вот ваша чаша! – кричит он и удаляется в стремительном огненном танце.

Третья дума Медвежьей головы

Золотая чаша манси,
Чаша с сытною едою,
В песнях смелого народа
Тыщекратно ты воспета,
Золотая чаша манси,
Где ты: в небе?.. под водою?..
В чьих руках сейчас ты, чаша?
Отзовись скорее: где ты?
Может быть, тебя украли,
Может быть, тебя продали,
От голодных прячут ртов?..

Погляжу-ка я направо:
Там сидит бедняк охотник,
Он лишь край той чаши видит,
Вкусный запах в нос ползет.
Может быть, в Медвежий праздник,
Как собаке в подворотне
Пищи лакомый кусочек
И ему перепадет.

А потом семь лет голодных
По тайге бродить он будет,
Будет есть из снежной чаши,
Пить из ледяной – водицу,
Засыпать в постели снежной…
Только чашу не забудет,
Золотую не забудет,
В снежных снах она приснится…

Погляжу-ка я налево:
За столом сидит за длинным
Мутноглазый человечек
С языком большим и липким.
Языком своим липучим,
Будто жалищем пчелиным,
Он сердца людей наивных
Протыкает без ошибки.

Как слепень, слова-яички
Он откладывает в сердце –
Вырастают из яичек
Гусеницы серых мыслей.
Гусеницы гложут сердце,
В закоулках мозга вертят –
Робость, тупость и смиренье,
Как тряпье, в мозгу повисли.
Он в сердцах людей молитву
Выцарапает ногтями –
И в молитвенном порыве
Люди будут падать ниц, –
Вот тогда он чашу манси
Схватит сильными руками –
Алчность «липкого» не знает
Ни пределов, ни границ.
Будет жрать, пока не охнет,
Будет жрать, пока не сдохнет,
Но другому – не отдаст!

Кем он прежде был на свете?
Кто он – этот языкастый,
Мутноглаз колдовоглазый,
Тот слепень липкоязычный?
Из какого же он рода?
Из какой такой он касты?
Может, он – шаман-кривляка,
Колдунище диколикий ?..
Может, он кулак отпетый –
Обдирала-объедала?..
Может, поп длинноволосый,
Что таежников крестил?
В золотой парчовой ризе,
С бородою, как мочало,
Он язычникам на груди
Вешал желтые кресты…
Может, был он прохиндеем,
Оборотливым купцом,
Что народ таежный – манси
Терпким спаивал винцом,
А винище не простое –
На табачном на настое…
Это было, было, было!
Знамо, было – только сплыло,
Было, сплыло и прошло –
Обским паводком снесло…

В наше время, в наши годы
У него – иное имя.
Но язык большой и липкий,
Как и прежде у него.

Он такой же мутноглазый,
Так же тянется руками
К чаше сердца моего.
Он прикинется добрейшим,

Этаким рубахой-парнем,
Будет он тебя, как друга,
Крепко хлопать по плечу
И похитит чашу манси,
Только тоньше и коварней…
Я таких липокоязычных
Видеть больше не хочу!

В старину ругали чайку:
Это, мол, она украла
Золотую чашу счастья,
Чайка-птаха, чайка-птица.

Так и этот мутноглазый
Прихлебала-прилипала
Все готов свалить на чайку –
«Ах, воровка!.. Ах, срамница!..»

Так всегда и всюду было:
Коль народ в глубоком горе, –
Тотчас выдумают сказку:
«Виноваты чайки в море!..»
И найдут виновниц чаек,
И ругают люди чаек,
Так пушат их –
В хвост и в крылья,
Что летят и пух и перья!

Охотники убивают медведя

Стремительно, словно молнии, два охотника врываются в избу. С головы до ног обвешаны они лисьими и собольими шкурами. Пляшут, прыгают, делая вид, будто в яму смотрят они.

Вот берут они ружья. Метятся. Стреляют.

Потом делают вид, что с трудом что-то вытаскивают из воображаемой ямы, крича:

– Медведь наш! Милый медведь наш! Наш могучий лесной зверь! Не мы убили тебя. Тебя убило ружье. Ружье сделал русский…

Пляшут перед медвежьей головой охотники. Пляшут, будто молятся на медвежью голову.

Четвертая дума медвежьей головы

Да, правду говорят:
Ружье меня убило.
Смертельным был заряд.
Ужасна пули сила.

Кругом огни горят,
Лучина догорает…
Да, правду говорят:
Ружье само стреляет.

Но в чьих руках ружье
В тот страшный миг дремало,
Когда житье-бытье
Мне пуля оборвала?

Кто трав топтал ковер,
Брусники одеяло,
Когда, почти в упор,
Ружье в меня стреляло?

И чей в тайге костер
Горел светло и ало,
Когда, почти в упор,
Ружье в меня стреляло?

Над тундрою гроза
Гремела и ревела…
Мансийские глаза
Прицелились умело.

Таежная река
Глаза мои скосила…

Мансийская рука
Курок ружья спустила.

Полночный черный час
Играет в чет и нечет…
Но почему ж сейчас
Звучат кривые речи?

Рассевшись вкруг стола,
Друг дружку хором хвалят,
А черные дела
Они на русских валят…

Черный глаз мой видит далеко,
Видит глубоко и высоко.
Чует ухо черное отсель
Русский лад за тридевять земель:
«Вот мужик. Когда придет черед,
Скатерть-самобранку развернет,
Кликнет клич: своих друзей-врагов
Пригласит отведать пирогов.
Будут гости вдоволь есть и пить
И взахлеб хозяина хвалить.
Возносить аж выше и нельзя…
Таковы они – враги-друзья.
А мужик – на то он и мужик,
Он давно ко всякому привык,
Для него хвала и брать – не в счет,
Он все выдюжит и все снесет.
Ясен взгляд, и плечи широки:
Вот они какие – мужики!»
…А за столом – содом:
Ругают все на свете.
Я слушаю с трудом
Кривые речи эти.
О злые языки,
Постойте, погодите,

Упрячьте коготки
И на меня глядите!
Шуршит плакун-трава
В тайге от ветра злого.
Медвежья голова
Сейчас вам скажет слово.
То слово коротко,
Как северное лето.
Его сказать легко –
В нем лжи ни капли нету.
Выходит лось к реке
И в лес уходит снова.
О русском мужике
Мое лесное слово:
«Он мудр, настойчив и силен,
И справедлив он испокон,
И дружбе верен он,
Холодного согреет он, –
Таков его закон.

Быть может, для путей морских
Корабль на крыльях колдовских
Построит завтра он.
А послезавтра – на Луну,
Пронзив небес голубизну,
Ворвется, как циклон.

И, коль рука его мощна,
Коль сделать может все она,
Коль он умом берет, –
Зачем печалиться, спеша
Твоя омрачена душа,
О маленький народ?!

Клубятся в небе облака,
Над миром пролетая.
Большое сердце мужика –

Что чаша золотая!
Его не нужно величать,
Его не нужно прославлять
И восхвалять, как бога.
Но что тебе его бранить?
За что тебе его хулить?
Ведь он тебе подмога.
Сладка, как патока, хвала.
Хула – как липкая смола».

Мне виден в облаках просвет.
Э, люди, лучше будьте.
Кривую песню давних лет
Скорее позабудьте!
Ищите новые слова.

Так говорит вам голова…

Песня, упавшая с неба

Тесно в избе. Душно в избе. Медленно, важно ступая, входит в избу берестяная маска. Должно быть, это очень важная особа, потому что при её появлении заиграли все санквылтапы, а многострунный журавль колокольчиками позванивает. И поет Песенный Человек, поет-сказывает о священном звере, спущенном на железной цепи с неба:

«На седьмом небе растят Медведя – Нуми-Торума сына,
В светлом дому лелеют Медведя – Духа Лесного.
В изголовье подушки высокие ночью кладет он, –
Они ему кажутся ниже, чем палые листья.
В изголовье подушки низкие кладет он –
Они ему кажутся выше, чем снежные горы.
Он отца своего, Нуми-Торума, умоляет:
«Отпусти ты меня, отец, на зеленую землю,
На зеленую землю из ярко-зеленых сукон.
Отпусти мы меня, отец, на красную землю,
На красную землю из ярко-красного шелка,
Отпусти на счастливую землю, где живут веселые люди!»

Кузнеца одежду надевает небесный отец Нуми-Торум,
Начинает он в небе ковать, начинает кузнечить.
Молоток его цокает, по небесной стучит наковальне.
Так проходит тря дня, и еще проходит четыре.
Отковал небесный кузнец красивую люльку,
Изукрашенную серебряными ободками,
И железную цепь крепко-накрепко привязал к ней.
Вот зовет Нуми-Торум сына – Медведя, Лесного Духа,
Говорит: «Ты ложись, сынок, в красивую люльку!»
Опускает Нуми-Торум железную цепь с седьмого неба,
Как серебряные рубли, цепь звенит, с облаков спускаясь.
Дует ветер горластый с белым голосом северным –
В край горячего лета относит люльку с Медведем.
Дунет ветер горластый с желтым голосом южным –
В ледовитое море, в студеное море относит.
Меж землею и небом седьмым болтается люлька,
Поднимается и опускается люлька от ветра.
«Эй, отец мой, отец Нуми-Торум, меня укачало:
Либо вниз опусти меня, либо втащи меня в небо!»

На седьмое небо Медведя втащил Нуми-Торум.
В светлый дом отца своего Медведь тихонько поплелся.
Но не спится Медведю в берлоге его звериной,
Он ворочается в гнездовье своем соболином.
И опять идет он к отцу и жалобно просит:
«О, отец мой божественный, отпусти меня вниз – на землю!»

И, подумав, говорит Медведю-сыну Нуми-Торум:
«Хорошо. Только помни, там, внизу, ты не трогай
Похороненного в тайге зеленой
Ледяного неведомого человека!
Его капище, что к лесной притулилось опушке,
Никогда ни за что разорить не пытайся!»

Отпусти Нуми-Торум с седьмого неба Медведя-сына,
Отпустил его вниз в люльке с серебряными ободками.
Вот шагнул Медведь-сын из люльки на зеленую землю:

Сюда ступит – топь-болото, туда ступит –
Вода брызжет.
По всем семи уголкам лесной чащобины бродит.
Комары его заедают, голод брюхо ножами режет:
Мало ягод в лесу уродилось,
Шишек вызрело в недостатке…
Как-то раз, за спиной деревянной горбатой деревни,
Где полным-располно молодых парней и девчонок,
У опушки лесной он набрел
На освещенное капище манси,
Что стояло на толстых столбах четырех деревянных.
Он швыряет на землю идолов, вырубленных из березы,
Рвет на клочья цветные платки,
Принесенные в жертву духам.
Сруб из бревен столетних четырехугольный находит,
Труп вышвыривает из него обледенелый
Ледяного неведомого человека
И уходит, в сырую тайгу он уходит…
Наступает осень с сырыми дождями,
С золотыми листьями осень приходит.
Сын Медведь высоченный бугор находит,
Высотою в три человеческих роста,
Строит дом из бугра, и спать он ложится,
И впадает в сон с семью корнями.
… Вот однажды, сквозь сон дремучий, он слышит:
Где-то, рядом совсем, захлебнулась лаем собака
С небольшого лосенка величиною.
И потом ему ветер весть приносит,
Что три рослых человеческих сына,
Убивающими первыми первых казарок,
Натянули луки свои тугие.
Как три черных ворона, каркают луки:
Карр!.. Карр!.. Карр!..
… Лишь потом очнется душа Медведя,
В человеческом доме она проснется…
Расстегнули охотники пуговицы на шубе медвежьей,
Сняли шубу мохнатую с могучего зверя,

Положили его в люльку из ивовых прутьев
С пятью ободками из рябины,
Усадили на шеспилапую нарту
И подвозят Медведя к деревянной деревне.
Выбегает навстречу народ любопытный…
Три охотника ревом ревут звериным,
Аж четыре раза рычат по-медвежьи:
«Утчу-ва-нэ-е!..»

Веселят охотники зверя игрой дождевою:
Водой чистейшею, летом, друг в друга плещут.
Зверя снежной игрой, зимой, они развлекают –
Швыряют друг в друга холодным снегом.
Чистыми, как утренний ручей, руками
Поднимают зверя с шестилапой нарты,
Осторожно его в избу вносят,
Там усаживают его с почетом
На столе, красным сукном покрытом.
И сидит, среди счастья зеленого шелка,
Голова Медведя с большими зубами.
Много широкогрудых мужчин приходят в избу.
Духами призванные, пять ночей никуда не уходят люди,
Небом призванные, семь ночей веселят они зверя, –
Перед ним они пляшут крылатые пляски,
Громкой песней хвалебной его величают.
Дерево с семью жильными струнами берут в руки,
Дерево с семью струнами – журавль мансийский.
Нижнюю струну его тронут – заклинают зверя заклятьем,
Ублажают его молитвой,
Величают его Могучим Духом,
Главою рода стать его просят.
Так, в новый, в богатырский путь его провожая,
Воспевают его, проклинают его, умоляют и бьют.
Люди молятся на него, пляшут возле него,
Песни хором поют, возвеличивают его,
Чествуют!»

Пятая дума медвежьей головы

… На столе большом сижу,
На столе большом священном,
С высоты стола гляжу
На людей, на пол, на стены.
Ночь – к рассвету. Я не сплю,
Дуду думаю свою…
Обескровлен я, бессилен,
Но глаза мои глядят:
Люди, что меня убили,
Супротив меня сидят.
Брагу пьют, мясцо едят,
Злые речи говорят.

Глаз мой видит, слышит ухо,
Как, насмешку затая,
Все зовут священным духом
Низведенного меня.
Кормят горькими кусками,
Бьют проклятьями-кнутами…
Я бы грыз их и царапал,
Опьяневших от вина,
Я б их сшиб когтистой лапой,
Да… отрублена она.
Я бы шкуру с них спустил,
Да подняться нету сил.
Я б в них выстрелил словами,
Как железною стрелой,
Но язык они не сами
Вырвали из рта. Долой!
Не раздастся грозный рык –
Съеден с водкой мой язык.

Нету тела, нету лап,
Я – неловок, я – ослаб…
Если ж людям не по нраву
Будет мой звериный взгляд,
То тогда они по праву
Влепят в черный лоб заряд.
Полетит в глаза зола,
Сбросят на пол со стола.

Голова болит от шума,
От мелькания теней…
Только думать, думать, думать
Разрешают люди мне.
В синем дыме, в полумгле
На большом сижу столе.

Я сижу, молчу как рыба,
Никого я не корю,
Людям, в мыслях, «пумасипа!»
Я сегодня говорю,
Людям, что в последнем сне
Не мешают думать мне.

Сколько вам угодно, люди,
Столько буду здесь сидеть,
Петь мой рот беззвучно будет,
Вместе с вами молча петь.
Из бутылки пробку выбью,
Золотую чарку выпью.
Караси жирую в ряске.
Коростель скрипит в овсе.
Погляжу все ваши пляски,
Песни выслушаю все.
Буду слушать здесь, в углу,
Всю хулу и всю хвалу.
За радушие «спасибо»
Ныне людям говорю.
«Пумасипа! Пумасипа!» –
Я людей благодарю.

За окном – вороний грай.
Ты играй, журавль, играй!
Пойте, люди, и пляшите,
В такт руками вы машите,
Елки взяв наперевес,
Вместе с вами пляшет лес,
Славен наш таежный край!..
Ты играй, журавль, играй!..

Журавль, играй!

Кен-кеным,
Кен-кеным,
Трень-брень,
Дзинь-звяк.
Сизый дым.
Белесый дым.
Завершаю песню так:
«Мой журавль певучий,
Играй –
Комаром пищи,
Пургой завывай,
Засвисти щеглиным свистом,
Закатись ребячьим визгом,
Медведем реви,
Росомахой рычи,
Громом греми,
Чайкой кричи,
Грустящей девушкой вздыхай –
Величие сердца моего народа
Воспевай!

Кен-кеным,
Кен-кеным –
За окном рассвета дым.
Взмахом черного крыла
Ночь медвежья поплыла.

Птах залетных гомон звонче.
День в избу шагнул с крыльца.
Только праздник наш не кончен.
И у песни нет конца.
Быстро день-олень умчится
В ледовитые края,
Новой ночью зародится
Песня новая моя.

И, когда над домом нашим
Расцветете цветок луны,
Мы опять споем и спляшем
По завету старины.

Тот, кто голос понимает
Бьющих из земли ключей,
Непременно разгадает
Песни всех семи ночей:
Проплывут лесные были
Перед дулами зрачков –
Ты поймешь, как манси жили
Семь седых, глухих веков.

Полюби Медвежий праздник,
Стань их жизни соучастник!
Тень горбата и рогата –
Рано песни затевать.
Мне б хотелось до заката
Хоть немножко подремать.

Скажут: вот развел бодягу,
Вспоминая старину .
Можно, я вот тут прилягу,
В сны цветные загляну?
Вы уже строго не судите,
Люди – добрые сердца,

Коль хотите – отдохните
Или выпейте винца.

Или в желто-розоватый
Окунитесь в теплый сон,
Как морошка сладковатый, –
До чего ж душистый он.

Может, эти сны и песни
В глубь веков укажут путь.
Только все же интересней
В будущее заглянуть!..
Эй, журавль! Людей мани
К песням вечно молодым.
Ты, струна моя, звени:
Кен-кеным,
Кен-кеным…

Песнь третья

Чай

Золотой огонь, трещи,
Сердце нам разгорячи!
Мы, белее мерзлой рыбы,
Без тебя пропасть могли бы!
Выручай, выручай,
Кипяти всесильный чай!
С первой каплей – только тронь!
Будет жечься, как огонь;
Со второй-то мы небось
Станем быстрыми, как лось;
С третьей капли – чудеса! –
Полетим через леса;
Мы с четвертой капли будем
Танцевать на радость людям;
С пятой каплей ночью зимней
Целоваться захотим мы,

А с шестой –
Вспыхнет кровь!
Запоет в крови любовь!
А седьмой горячей капли
Будем вечно жить, не так ли?
Эй, трещи, огонь, трещи,
Сердце нам разгорячи!
Выручай, выручай,
Кипяти всесильный чай!

Моя Миснэ

***

Дремлет лес, легко дыша,
В нем живет, я знаю,
Миснэ, добрая душа,
Женщина лесная.

Ходит, веточки стройней,
Где-то в снежной дали.
Шубка вышита на ней
Птичьими следами.

Бисер искриться огнем,
Весь в лучистых блестках.
Так сияет ясным днем
Иней на березках.
Пусть ни солнца, ни лучей,
Воет вьюга злая.
А у Миснэ из очей
Льется ласка мая.

Все согреет этот взор,
Все растопит синий.
Холод сердца, лед озер,
Старых прядей иней.

Если больно от обид,
Миснэ, беспокоясь,
«Тюпын, Тюпын», – говорит, –
«Милый, милый» то есть.

Миснэ, миснэ – дар людской,
Светлая отрада.
С Миснэ – ласковой такой –
Сориться не надо.

А дружить с ней – значит жить
С песней молодою,
Как по Оби в лодке плыть
Полою водою.

Дремлет лес, легко дыша,
В нем живет, я знаю,
Миснэ, добрая душа,
Веточка лесная.

Только где ее искать?
Лесу много-много!
Слышишь, сердце, хватит спать,
Нам пора в дорогу!

***

Снова в сердце нелады –
Бьется, бьется язем,
Вытащенным из воды,
Выброшенным назем.

Это девичьи глаза!
Снова мысли тонут…
Это русские глаза,
Синие, как омут!

Неужели это явь?
Вдруг она растает?
Бьется сердце – словно явь
Воздух ртом хватает.

***

Щурится солнце от счастья
В чистой без туч вышине,
Его золотые запястья
Ложатся на плечи мне.

Что ж прячешь ты
Взгляд влюбленный,
Мансийских озер голубей?
Когда же твои ладони
Заснут на груди моей?

***

Лунный луч узоры ткет
На речной излуке.
Сердце трепетное ждет
Теплых рук подруги.

«Жди, придет!» – звенит прибой.
«Нет!» – камыш вздыхает.
Как осинник над рекой,
Сердце замирает.

Не пришла… Но и за то
Ей уже спасибо,
Что у речки золотой
Ждать ее просила;

Что осиновым листком
Сердце трепетало;
Что малейшим ветерком
Воздух колебало.

Что надежда, как волна,
Вспыхивала, гасла.
Не пришла пускай она –
Ждал я не напрасно!

…Если б так душа моя
Волновалась вечно,
То, наверно, был бы я
Счастлив бесконечно!

***

Без тебя мне плохо,
Хорошо – с тобою.
Как олень без меха,
Ничего не стою.
Без тебя и лыжи
Не идут по снегу.
И олень обижен,
И не годен к бегу.
Без тебя не слышно
Песенки тумрана.
Появись, чтоб вышло
Солнце из тумана.
Что скользили лыжи
И олени мчали,
Сядь ко мне поближе,
Приласкай в печали.

***

Как по лесу темному
Малая Медведица
Вперевалку по небу идет.
Снег крупчатый мелется,
шаль твоя мелится,
Свадебные сани у ворот.
Эти сани-розвальни за тобою посланы,

Эта ночь таится у дверей,
И дорожки звездные
тебе в ноги постланы,
Полумесяц в гривах у коней.
Если сани заняты,
если села в сани ты,
Значит, пронесемся мы с тобой
По морозной наледи мы с тобой
по метельной замятии,
По дороге жизни молодой.

Ах, если б так же нам идти…

Звезды осыпали небо,
Месяц в звездах исчез.
О, рыжие лисенята
На синем лугу небес!
Они идут в обнимку
Широким Млечным Путем…
Ах, если бы, дорогая,
Нам так же идти вдвоем!

***

Мы воем с тобой сидели,
И рука в руке дремала.
Мы на озеро глядели,
Где дорожка засверкала.

Нам пройти мечталось вместе
По дороже той желанной,
Но была дорожка лунной
И вода – непостоянной.

***

Когда стихи, приятели и споры
Тебе наскучат,
Собирайся в путь!

Садись, браток, на поезд самый скорый.
На самый скорый только – не забудь!

Пусть, как хорей, засвищет ветер тонко,
И даль потонет в белых облаках,
Пускай тебя, как малого ребенка,
Дорога покачается на руках.

Пусть стройней и чище станут мысли
Пускай не слышен будет бег часов…
Пусть мчатся сосны,
Стройные, как Миснэ –
Родная фея
Северных лесов.

Ах, Миснэ, Миснэ!
Если долгим взглядом
Пронизывать лесные терема,
В конце концов покажется, что рядом
Она бежит за поездом сама.
Нет, нет, уже не кажется, не снится –
Она и впрямь летит в твоем окне,
И тронутые инеем ресницы,
Как ветви сосен,
В зимнем чутком сне.

Мелькают в селах парные окошки…
Так это не ее ль глаза, постой!
Как спелым соком ягоды морошки,
Они полны теплом и добротой.

В пушистой шапке,
В русском полушалке,
Но с милым навсегда разрезом глаз,
Она к тебе на каждом полустанке
Навстречу выйдет

Много-много раз.
Кто мне она?
Мечта?
Воспоминанье
О давних встречах с девушкой земной?
А может просто ветер и сиянье
Просторов, околдованных зимой?
Потом приснятся нарты и олени.
О как знаком их легкий, плавный бег!
И звезды в небе, как глаза оленей,
И долгий путь,
И синий-синий снег…

На железных нартах

1

Глаза ты раскроешь, как двери:
и синью,
и золотом небо всплывет,
и зыбью.
И мысли твои поплывут,
словно гуси.
И в сердце закапают
капельки грусти…
И смотрит на мир, озираясь,
душа, как будто ребенок грудной,
не спеша.
Поет и ревет,
и взирает с доверьем,
и кружит, быть может,
по следу оленем.
И ведать тебе не дано –
к чему твое сердце
стремится давно!
Я знаю,
что стоит глаза распахнуть,
ворвется Вселенная

яростно в грудь.
А может быть,
в клетке грудной у меня
вдруг станет светлее
прозрачного дня.
А может,
душа моя
в клетке грудной
вдруг встретится
с мглою беззвездной
ночной.
А может,
бессмертием вечным грозя,
в груди
поместится
Вселенная вся.
А может быть, в ней
пустолайкою лает
мгновенье обиды,
что скоро растает?
И, чувствую
в жизни тревожную дрожь,
ты настежь, как двери,
глаза распахнешь!

2

Наверно, олени мои несутся,
все время несутся рысью –
и бег в их ушах отдается у меня
серебряным звоном,
мелькают деревья,
лысыми ставши без листьев,
и взгляд мой прыгает
по кронам, стужею опаленным,
скачет туда, скачет сюда.
Смотрит вперед

и обратно тянется,
не успев на земле запомнить снега,
взгляд мой
на дальней сопке останется…

Не успев заполнить землю эту –
несусь куда-то,
уже по другой земле,
в других незнакомых снегах,
и в глазах у меня остается,
застывает лишь бег крылатый
да звонкий, железный звон в ушах!
Олени мои рысью несутся.
Только где они?
Думаю снова.
Я не искал на заре их
среди кедров по тонкому следу.
Я не ловил их арканом –
тоньше червя дождевого,
не запрягал их в упряжку –
и все же лечу я по снегу!
По белому свету
в таежном лесу,
как в сказке, еду,
как в песне, лечу!
В ушах моих звон железный
Не знаю – где же олени?
Не вижу оленей своих я,
а были ведь возле!
И в нартах железных
несусь я куда-то со всеми,
и слышится только:
скрипят над снегами полозья.
Это, видно, под ними
дорога железная стонет,
стонет и гнется она,

озвучив дали окрестные,
качает дорога меня,
вот-вот и в сугробы уронит;
качает попутчиков,
а люди –
они не железные.
И смотрят они живыми глазами,
где в снежной полуде
дорога дрожит от тугого
железного скрипа.
Пусть нарта железная
и олени железные!
Люди,
спасибо, что вы не железные.
И я не железный!
Спасибо!

3

Два озера нежных перед глазами,
два озера нежных
плещутся сами,
два озера чистых под синью,
под ветром
заискрились беглым
таинственным
светом.
Два озера помню
навеки теперь я –
и больше не вижу я
старых деревьев,
железного больше
не слышу я стона,
и кажется домом
каюта вагона.
Неужто мой дом опустеет когда-то
и встанет на месте
железная нарта.

И могут сойти
у любого перрона
два озера синих –
два глаза влюбленных?
Мы слышим сердцами,
мы слышим друг друга,
колеса стучат нам:
раз-лука,
раз-лука!..
Два озера синих,
два нежных, случайных,
сейчас унесут
от меня
свою тайну.
Играют они
голубою волною,
озера, полны вы
девичьей тоскою.
Два озера нежных
все плещутся, плещутся –
сойдут и погаснут,
и мне не утешиться!

***

Э-ге-гей!
Быстрей!
Быстрей!
Санный поезд, э-ге-гей!
Из железа поезд санный
самый быстрый,
звонкий самый,
э-ге-гей!
Кто каюр?
А кто в упряжке?
Э-ге-гей!
Путь большой,

широкий, тряский –
снеговей!
День грядущий далью светит –
торопись!
Из мечты своей мы лепим
нашу жизнь!
Даль судьбы
и даль путей,
э-ге-гей!
И хотя нам, может, тесно
в длинной нарте той железной –
торопись!
Железный стук.
Мы, как рыбы, в этой лодке,
мы народ совсем не робкий,
нам в охоту
ритм четкий:
тук-тук-тук!
Тук-тук-тук!
Ритм хлесткий,
ритм тряский!
Мы поймаем нашу сказку,
сами сказку сотворим –
вдаль летим!
Это ритм скоростей –
э-ге-гей!
Ну! Железные лени!
Тесновато! Но от тренья
слезет рыбья чешуя.
Что с нас слезет?
Невезенье.
Что с нас слезет?
Неуменье.
Э-ге-гей! –
На все края!
Кто каюр?

А кто в упряжке?
Э-ге-гей! –
Навстречу сказке.
Кто каюр?
Как длинный шнур,
санный поезд,
поезд санный !
Кто каюр, не знаем сами –
только снег из-под копыт –
санный поезд
вдаль летит!

Богиня

Однажды я прочитал в газете:

«Где-то за Уралом некогда стояла статуя из чистого золота – «Золотая баба». Ей поклонялись древние племена, жившие по обе стороны Урала. Она была запретной святыней: никто не мог подойти к ней, кроме потомственных служителей, носивших красные одежды.

Первый раз ещё в XIV веке новгородские летописцы узнали о ней от монархов, ходивших в Пермь насаждать христианство. Второй раз о статуе были получены более подробные сведения от служилых людей московского царя, которые в XVI веке составляли «дорожники»… С этого времени все карты и описания России, изданные в западной Европе, повторяли это сообщение.

В Европе распространился слух, что статуя была унесена из Рима еще в 410 году, когда его захватили племена готов. Иностранцы предприняли попытку проверить эти сведения…

Уже в XVIII веке в зауральские края попал еще один грамотный человек – киевский полковник Григорий Новицкий. Новицкий передал нам вполне независимые от автором сведения о том, что где-то на Конде до сих пор служители в красных одеждах тщательно прячут от всех свою главную святыню – «Золотую бабу», которая кричит, «как дитя».

Позже на Конду, рискуя жизнью, приходили этнографы, охотники, краеведы. Давний запрет тяготел еще над местным населением,

тайные тропинки, ведущие к святыням, сторожили взведенные луки-самострелы.

… В самое ближайшее время новые исследования принесут загадку древней легенды, которая вот уже шестьсот лет дразнит нашу любознательность, скрывая происхождение замечательного исторического памятника северных народов – таинственной «Золотой бабы»».

Прочитав эту статью, я подумал о волшебнице Сорни-най, которой и сейчас поклоняются старые манси. В переводе с мансийского Сорни-най – золотая богиня. Женщина – не баба. Не бабе поклонялись древние. Настоящая женщина – богиня. У нее свои золотые тайны. И не так-то легко ее найти.

И я написал стихотворение.

Мне снится русая богиня.
Ее глаза как ручейки,
Струятся в памяти, но имя
Не вспомнить: сны, знать, коротки.
Она не та, что из легенды,
Не та, что средь лесов живет
И всполохи, как будто ленты,
На волосы свои кладет.
Вся в соболях, в шелках. Сережкой
Ей служит ранняя луна.
В избушке на лосиной ножке
Который век совсем она.
И ни один смельчак покуда
К ней не пришел. Пути темны.
И нравы дикие, как вьюга,
Все в шубу тайн облачены,
И бесконечные поверья
Как те леса. Но я иду
К богине-идолу.
Деревья
Шумят, как птицы на лету.
И вот она. Пред нею низко
Склоняюсь, опускаюсь в мох.
Но даже камень обелиска
Теплей ее спокойных ног.
Как страшно мне – хочу скорее
Прервать немое забытье.
Ее я лаской не согрею,
И сказкой не согреть ее.

Мне снится русая богиня.
Я в сон по сердце погружен.
И он сбывается. Уж ныне,
Наверное, то вещий сон.

Она зовет меня: «Смелее!»
И приближается ко мне.
Я, словно ветка, пламенею
На обжигающем огне.

Я напрягаюсь, замираю.
В душе моей и свет, и грусть.
И наконец-то я сгораю
И человеком становлюсь.

О сила женщины! Приемлю
Загадочную власть твою.
Две ножны полные – две нельмы,
Плывущие в родном краю.
А груди – словно два оленя,
Вдруг замершие на бегу.
Моя богиня! Даже тени
Твоей обидеть не могу!
Ты вся – свобода! Я не видел
Такой, как ты, мечты живой!
(А может быть, ты древний идол?
Лишь облик современен твой…)
Но под твоим туманным оком
Я ничего не убоюсь.
Сгораю в пламени высоком
И человеком становлюсь.

От любви твоей высокой

От любви твоей высокой,
Человеческой, тихой, чистой,
От меня такой далекой
И немыслимо так близкой,
Яне красавцем становлюсь
И не высокою звездою:
Я смотрю в себя, дивлюсь –
Становлюсь я сам собою.

Россия

Когда в немыслимую стужу
Погибла мать моя, когда
Мою мальчишескую душу заледенели холода,
Мне на плечо рука России,
Как материнская, легла.
Россия мне и ум, и силу,
И кров, и сытный хлеб дала.
Она в глаза мне посмотрела
Так по-весеннему светло,
Что даже душу мне согрело
Ее сердечное тепло.
А вот когда вступил я в юность,
Она, Россия, для меня
Вдруг девушкою обернулась
С глазами, полными огня.
И сердце, словно солнце мая,
Она зажгла в моей груди,
Ей руку белую сжимая,
Я видел счастье впереди.
В дни радостные и лихие
Женой и другом мне была.
И как подарок от России
Она мне дочку родила.
Вот дочь в глаза мои заглянет,
Начнет язык мой понимать…

Пусть, как Россия, доброй станет
И очень ласковой, как мать.
И пусть еще такое будет:
Две крови в ней одной живут,
Пускай ее мансийской люди
И россиянкою зовут!.

***

Утро.
Оно смотрит на нас
Горячим глазом солнца…
Песок щекочет ступни моих ног
Пальцами солнца.
На коленях твоих, круглых,
Как два солнца,
Резвится стыдливым олененком солнце.
Груди твои
Как два солнечных шара.
И глаза твои
Как два солнечных озера.
Я тону в них.
Тону в солнце!
Я расту.
Расту под солнцем.
Хорошо!
Я дышу всей грудью.
Пью солнце.
Мир становится солнечнее.
Щедрей становится мир.
Счастье!
Неужели когда-нибудь мир
Потеряет тебя,
меня
и солнце?

Песнь четвертая

– Что такое: на вершине дерева сильный ветер?
– Мысль.
Мансийская загадка.

«На вершине дерева сильный ветер…»
Человек, задумайся над этим.
Не стой безучастно, как спокойная лошадь.
На вершине дерева сильный ветер!
Дерево живо, в нем – соки жизни…
В голове – в вершине человека – сильный ветер:
то волнуются мысли.
Если шум вдруг услышишь,
не брани вершину дерева…
Человек, задумайся над этим:
почему гнутся ветви,
почему говорит так громко листва?
Стань на мгновенье вершиной дерева.
Прими на себя натиск ветра.
Брось в лицо ветра свои вопросы,
печали, сомненья и все загадки этой жизни,
жизни, что пахнет горечью дыма
и росной сладостью ягод…
Стань на мгновенье вершиной дерева.
Около земли тихо,
травы ведь здесь не шумят, а только стелются.
А корни дерева ушли под землю,
щипая тьму
своими длинными крючковатыми пальцами.
Они не знают о ветре.
Укрытые мхом, как тулупом,
они сосут вкусные соки земли.
Но видят ли они жизнь
с её красой и дрожью?
Нет, только листва, что на вершине,
видит мир,

Отчего она и зелена
и распускается с каждой новой весной.
Листья принимают удары первыми.
Они мыслят смелее других жизнь,
они ценят больше других
жизнь, ее бесконечный трепет.

На вершине дерева сильный ветер…
Хорошо.
Не опали еще листья!
Человек, задумайся над этим,
не стой безучастно, как спокойная лошадь.
Стань на мгновенье
вершиной дерева…

Идол
1

– Земля моя! Какая у тебя песня? Тайга моя! Какая у тебя сказка?

– Песня моя – нефть сказка моя – газ. Загадка моя – это я сама, – ответила тайга, не замечая над собой ярких сполохов северного сияния.

Я не стал больше спрашивать, ведь шал вторая половина сложного двадцатого века. Люди были героями, покорителями природы и космоса. Я решил пойти и слушать…

Ледяная земля проснулась от вековой спячки. Она разгоряченно дышала, снимая с себя шкуру из дремучей тайги, опоясываясь стальными нитями дорог и трубопроводов. Она гудела под железными копытами кочевья. С радостью наряжалась в ожерелья городов, сияя счастливыми глазами новых огней… А герои шли, шли, шли. Шли в пургу, мороз, в зной. Пробираясь сквозь таежные дебри, топкие болота, голую тундру, они шли, шли, шли… и я был вместе с ними. Я тоже был героем. И мои уши глохли от железного рокота: не все я мог услышать. И мои глаза слепли от яркого сияния огней: не все я мог увидеть. И я летал на стальных птицах, обгоняя время, не чувствуя движения Земли…

Но однажды я услышал плачь, который вы не могли услышать:

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Люди!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Люди!
Если у вас еще не охлохли уши
От жизни, летящей железной птицей,
Послушайте меня.
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!»

Услышал я это в верховьях безымянной речки, где бульдозерист расчищал место для нового селения нефтяников, увидал полуразвалившуюся избушку на «лосиных» ножках. Ее сторожили самострелы, притаившиеся среди древних кедров и лиственниц, и плосконосые идолы, стоявшие вокруг поляны… Удивленный бульдозерист вытаскивал из избушки почерневшие от времени деревянные сабли и стрелы, лоскутки материи, шкурки каких-то зверей, берестяные маски, монеты серебряные и золотые, медные амулеты с загадочными узорами, цепочки, железки и, наконец, странную куклу в собольей шапке, в одежде, расшитой цветными сукнами, серебром и золотом…

Он небрежно бросил все это в снег. И, удивленный дикости, он рассмеялся. А я снова услышал плач:

«Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Я не нищий! Не холоп!
Вы предо мной снимали соболиные шапки,
А не я перед вами.
Ваши молитвы легкими снежинками
Стелились к моим ногам.
Глаза ваши были полны озерами слез.
Вы это уже позабыли?!
Души ваши были темными пещерами,
Полные страха и сомнения.
Вы шли ко мне.
И я успокаивал вас.
И это
Вы в своей тощей памяти

Зарастили мусором?!
Неблагодарные!
Вспомните:
Уши мои –
Два острослухих ворона.
Глаза мои – два зоркоглазых ястреба.
Вздрогнут священные деревья
С семью жертвами –
Я уже слышу.
Качнутся жертвенные деревья –
С семью жертвами –
Я уже бегу на ваш крик и зов.
Бегу ногами семи лосей
Из-за семи гор.
Сквозь дожди и белый ветер
В вашей памяти бегу.
Колючие ветки семи боров
Расчесывают мл одежду
Из осенних оленьих шкур.
Вы шептали о своем горе
Устами еле дышащего языкастого зверя.
Для вас я был самым могучим, великим.
Я ходил в подземелье,
Где лишь мамонт ползает
И злой дух Куль бродит.
Я плавал там,
Где водяной Виткась плавал.
Лишь я мог быть рядом с Небом и чертом.
И не страшны мне ямы,
Где вязнут ваши ноги.
И нет земли,
Где слабели б мои руки!
Ради меня вы испускали кровь
Лучших белоснежных лошадей,
Круторогих оленей вы приносили в жертву,
Возвышая меня над всеми духами,

Восхваляя мое имя!
Вы все еще не можете вспомнить меня?
Как коротка ниточка вашей памяти!
О как ничтожны!
Да вы сами своим коротким умом
Сотворили сменяя.
Своими живыми руками
Вырубили из дерева,
Из долговечной лиственницы.
Да, я – деревянный идол!
Ваш – дух!
Ваш – вождь!
Ваш – бог!
Я – идол!
Вы – идолопоклонники!

2

И стал я вспоминать

Это не тот ли идол, которому поклонялись мой дед и прадед? Это не ТОО ли идол, который и на меня в детстве наводил страх? И маленькой сердце трепетало, как рыбка в руках человека, пока русская учительница не вывела меня на широкую дорогу из-под чар волшебных лесных духов.

Дорожку к ним сейчас манси стали забывать… а может быть, в нас идол и не умер? Ведь все тогда стали поклоняться другому. Хотя он и был человеком.

Отчего все это было? Разве мы в самом деле были другими? Прошелестел ветерок около уха, и чей-то глуховатый голос выплывал из гробовой тишины:

«Не на Луне, а на Земле
Стояло капище мое.
Среди кедров онемевших стояло капище мое.
На четырех ногах, вросших в землю,
Стояло капище мое.
Стрелы с острым клювом птиц
В хвое таились –

Стояло капище мое!
Среди семи великанов менкв
С глазами, обросшими шерстью,
Сидел я в капище моем.
Тридцать стальных сабель
Навек уснули в капище моем.
Тридцать стальных масок
Юлили в капище моем.
Лицом деревянным, глазами деревянными
Глядел на вас –
Стояло капище мое.
На четвереньках ко мне ползли вы –
Стояло капище мое.
Не только оленя, но и себя
Принести могли вы в жертву мне –
Стояло капище мое.
След ноги моей вы целовали –
Стояло капище мое.
Вы несли ко мне монеты –
Стояло капище мое.
Вы к ногам моим могли принести планеты –
Стояло капище мое.
Подхалимы всех слаще молились –
Стояло капище мое.
Злые языки за зубы прятались –
Стояло капище мое.
Вверх ногами не ходили –
Стояло капище мое.
Бранью тайгу не оглашали –
Стояло капище мое.
Даже звери не рычали –
Стояло капище мое.
Вы слепыми претворялись –
Стояло капище мое.
Вы глухарями быть старались –
Стояло капище мое.

Свой язык вы отрезали –
Стояло капище мое.
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Стояло капище мое!

Да, это был тот самый идол, которому поклонялись мои предки. Я увидел обструганное деревянное лицо, глаза, брови… От этого взгляда когда-то все живое немело… А теперь…

3

«Пу-ху! Пу-ху! Пу-ху!» –
Стонет где-то филин.
«Пу-ху! Пу-ху! Пу-ху!» –
Стонет где-то рядом.
«Карр! Карр! Карр!» –
Каркают деревья,
Черные от воронов.
«Халэв-лах-лах, лах-лах!» –
Заливаются в смехе чайки.
«Тырр-чирр, тырр-чирр!» –
Трещат хвостами сороки.
«Ха-ха, хи-хи, хо!» –
Смеются птички-невелички.
«Пу-ху! Пу-ху! Пу-ху!»
«Карр! Карр! Карр!»
«Тырр-чирр-тырр!»
«Халэв-лах-лах!»
«Ха-ха, хи-хи, хо!»

Потревоженная тайга пела, ухала, стонала… Трудно было отличить голоса певчих птиц от звериного рычания, стука топоров, жужжанья бульдозеров…

И кажется, лишь одно седое дерево, склонившееся под тяжестью снегов, удивленно проскрипело.

4

Отчего вы раскричались,
Расхрабрились,

Вдруг прозрели?
И уши ваши ловят слухи,
И язык метлой метется?
Отчего вы вдруг проснулись?…
И над глубоким снегом снова плыл стон.

5

В бревнах черви шевелятся –
Свалилось капище мое.
Соболью шапку крысы съели –
Свалилось капище мое.
В шелках моих вьют гнезда мыши –
Свалилось капище мое.
В лицо мое помет кидают –
Длиннохвостые сороки –
Свалилось капище мое.
И деревянные глаза мои
Клюет не дятел-работяга,
Клюет сам черный-черный ворон –
Свалилось капище мое.
Что в глазах моих он ищет?
Что найдет он в деревянных?
Хочу гшепнуть ему – но смогу ли –
Свалилось капище мое.
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Свалилось капище мое.

В памяти моей прорастает время. События середины двадцатого века проносятся в бешеной Медвежьей пляске. Мелькают Берестяные маски и знакомые лица. Вот одно особенно знакомое. Каждый день оно плясало в газетах. А сегодня это лицо застыло в немом крике.

6

Мне б хотелось, мне б хотелось,
Вкруг меня чтоб все вертелось:
Чемоданы, миски, чашки,

Петухи, орлы, букашки,
Корабли, огни, газеты,
Гимны, звезды и конфеты,
Сталь, ракеты, черви, стрелы,
Замминистры, управделы,
Мамонты, шайтаны, блохи,
Космонавты, скоморохи,
Волки, идолы, матросы,
Солнце, пьяные березы.
Так, чтоб шлюхи и герои
Были за меня горою.
Мне б хотелось, мне б хотелось,
Вкруг меня чтоб все вертелось.

7

Я мансийский деревянный идол.
Я сегодня уже умираю.
Сабли мои деревянные
Я к вашим ногам кладу.
Богатства мое – леса мои,
Где звери, как дети, играют
Пушистыми хвостами,
Я вам отдаю навеки.
Сокровища мои – мои реки,
Где рыбы жирными боками
Серебряные волны точат,
Я вам отдаю навеки.
Тайна моя – мои недра,
Где клокочет жидкое золото,
Я вам отдаю навеки.
Сабли мои деревянные,
Стрелы мои деревянные…
Опасен ли я для вас?!
Я мертвый уже.
Вы – живые!
Опасность моего зачатия

В вас самих таится.
Я – идол.
И я умираю.
Вы – идолопоклонники.
Вы остаетесь.
И в ком-то из вас я проснусь.
Ведь кланяться вы ох как любите!
И вину за грехи свои тяжкие
На плечи других вы валите,
Как снегами деревья…
А думать вы сами не любите:
«Пусть вертятся боги высокие,
Ломая себе мозги!
А мы лишь земные черви, -
Скажут нам, -
Подточим,
Изрешетим!...» –
О вечные идолопоклонники,
Меня вы снова вынянчите
В солнечной, золотой люльке,
В пышный наряд нарядите,
Новое имя дадите!
Я идол!
Я умираю.
Но опасность моего рождения
Таится в вас самих.

8

Под лиственницей юной
Не растет стрела.
Кай-о! Кай-о! Йо!
Под лиственницей древней
Сгнил мой самострел…
Кай-о! Кай-о! Йо!
Под лиственницей юной
Пусть растет трава.

Кай-о! Кай-о! Йо!
Под лиственницей древней
Пусть гниет шапка моя.
Кай-о! Кай-о! Йо!
Только перед этим
Я хочу сказать вам:
Кай-о! Кай-о! Йо!
На будущее наказать вам:
Кай-о! Кай-о! Йо!
Только мой облик из дерева
Не рубите больше!
Кай-о! Кай-о! Йо!
Только мое имя
Не лепите больше!
Кай-о! Кай-о! Йо!
Только в небеса
Меня не возносите!
Кай-о! Кай-о! Йо!
И в леса священные
Меня не уносите!
Кай-о! Кай-о! Йо!
Потом опять
Меня же ругать?!
Ой-о! Ой-о! Йо!

Потом опять меня же топтать?!
Ойо! Ой-о! Йо!
Быть среди вас святым –
Ой-о! Ой-о! Йо!
Будьте сами святыми!
Кай-о! Кай-о! Йо!

Песнь пятая

Слово – как таежный зверек.
А зверька поймать совсем не легко.
Увидишь след на свежем снегу,

Услышишь шелест травы,
Шуршанье хвои.
И кажется – твой он.
Ты радостью полон
И счастлив, как юноша.
А подумал так – и зверь ускакал,
Ликованье твое зверек услыхал.
Вслушается – а он далеко от тебя.
Был рядом – и сказкой недостижимой стал.
Когда подошвы сапог перетрутся
И голосом отчаяния вдруг заговоришь,
Напрягая все силы свои человечьи,
Тогда лишь, быть может,
Будет твоею добыча.
Таежный зверек – как таежное слово.
Таежное слово – как таежный зверек.

Лесное заклинание

Ноги соболиные у бесснежной осени,
Ноги лося быстрого – у бесснежной осени.
Зверь с красивой шеей, шею свою вытяни,
Лось, рогами острыми пути к спасенью выбери.
Пусть тебя не смогут – сын лесной метели –
Одолеть вовеки железные звери!
Пусть тебя не смеют по спине потрогать,
Крылья вертолета пусть поднять не смогут!
Пусть же не ослепят,
Пусть отступят сами
Юноши с железными хмурыми глазами.
И живи не пойманным, а на вольном выпасе,
Ржавчиною рыжею шерсть свою не выкраси!
Очаруй их силой, красотою звонкой,
Донеси все это
До моих потомков!

Рыбы

Ручьи звенят на всю тайгу
В моем родном краю.
И без ухи я не могу
Представить жизнь свою.

Вся сила в нас от обских рыб,
Крепки мы от ухи,
И мы без рыбы не смогли б
Писать даже стихи.

Кровь рыб, как камень, холодна!
Но наша кровь кипит,
Когда жильцов речного дня
Хозяйка потрошит.

В нас нежность сосьвинских сельдей,
Напористость язя,
Живучесть отроческих дней
У нас от карася.

В нас быстрота от резвых щук,
От них порыв и пыл.
А наш осетр, наш добрый друг,
Нас к важности склонил.

Глаза тайменей молодых
Прекрасны, как цветки.
Мы детям подарили их –
Сынам моей тайги.

Твоя коса, как рыбий хвост,
Красавица моя,
Твой бисер ярче зимних звезд,
Точь-в-точь как чешуя.

Прыть хариуса-молодца
Нам о душе пришлось,
И от налима-хитреца
Есть кое-что у нас.

Плывет муксун меж скользких глыб…
Рыбак, нельзя дремать!
Так каждый день мы ловим рыб,
А им нас не поймать!

Песня последнего лебедя

Весной на лесное озеро прилетел один лебедь. В небе веселились другие птицы – самолеты. И уток сало мало! Раньше охотники любовались лебедями. А этот лебедь плакал. Его плач и записал я…

«Я в объятьях неба…
Подо мной земля
И озер камышовые гнезда…
Я выше деревьев.
Лучи моих глаз
Могут пощупать то,
Что скрыто за чертой горизонта.
Вы придумали, люди, что я пою,
Лепечу, как ребенок, от счастья…
Я давно уже плачу.
Высоко надо мной
Расплакалась стальная
Незнакомая птица.
Громкий голос ее
Оглушает в меня в полете,
А крылья
Вызывают солнечное затменье.
Люди стоят на земле, головы запрокинув,
И смотрит
За пределы неба,
Куда я заглянуть не могу.
И хмелеют от песни железной…

А когда-то
Манси трогали пальцами
Струны моей души
И называли свою деревянную птицу
Нежноголосым лебедем…
Что глазеете вы, как в музее,
На мое одиночество?!
Из-за чьей-то одинокой жестокости
Я от стаи отстал…
Сто кругов
Прочерчу я над озером,
Где прадеды мои вили гнезда,
Окунусь в белизну белой ночи.
А утром,
Когда в небе нас будет двое –
Я и солнце,
И не грянет железная песня,
Я рассыплю смех,
Вылеплю лепет
И, как след, оставлю –
Старинный, последний
Свой клич:
«Летите, люди, в космос,
Сверлите, люди, Землю.
Смотрите туда,
Куда я заглянуть не могу,
Но берегите
Белые мои озера,
Ибо
Почернеет небо без белых лебедей,
Почернеют ночи без белых лебедей,
Под зеленою травой
Проступит черная пустошь.
Не топчите травы –
Я совью из них гнездо
И белой ночью
Высижу для вас белых лебедят…
А утром,
Впервые увидев солнце,
Они рассыплют смех,
Вылепят лепет
И, как след, оставят
Старинный, последний лебединый клич…»»

Древняя картина

Я – лебедь,
Ты – озеро,
Я парю
По небу, крылья свои распластав.
Я пою
О синих влажных глазах
В темно-зеленых ресницах трав,
Ты мне рассветной улыбкой сверкни,
Волны песцовые успокой,
И люди прозреют,
И скажут они:
«Ах, жизнь!
Мы ее не видали такой…»
А может, дело вовсе не в них,
А в этой бессмертной, живой красоте,
Я крылья сложу,
Соскользну я вниз –
Белый лебедь
На синей воде!

Дирижер

Вышкомонтажникам Шаима

Ухо мое звенит, звенит, звенит…
Сердце мое восседает
Посреди электрических костров
В поднебесном доме – театре.
Там пляшет в руке не хорей,

По знаку которого бегут олени,
А беспомощно-тоненькая палочка.
И хотя не вертятся Саснел –
Берестяные носы,
Зато вздрагивает над пляшущей палочкой
Обыкновенный нос человека.
Палочка пляшет –
И ревет, лает, поет оркестр
Голосами лебедей,
Голосами ворон, медведей и лаек.
Дрожит над пляшущей палочкой
Белый нос человека,
Как черные птицы,
Летаю волосы
Над каплями пота.
Звуки шаманят.
Широко открыты глаза, уши, рты…
Всех подчинил себе
Узкоплечий шаман-дирижер.
Но стены истаяли, словно весенний лед:
Нет никакого театра,
Я иду по моей земле!
Красными глазами брусники
Глядят они удивленно,
Как шагает железное чудище
По шерстистой спине её.
Кедры мои могучие
Вздрагивают, словно карлики, –
Их покрыл великан
Сумерками великанской тени.
Душа моя заливается лайкой,
Потому что глаза мои
Заполнены чудом:
Маленький человек в спецовке
Властно взмахнет рукой,
И зафыркаю железные олени,

Закачается железный великан,
Загрохочет ребрами,
Зашагает, повинуясь властным рукам.
Взмах – и сосны трещат,
И медведи ревут, и чайки смеются,
И токуют глухари,
И танцует тайга.
Кто же он –
Человек в спецовке?
Не шаман ли?
Нет!
Это вышкомонтажник Литовченко!
Его руки
Поднимают буровую вышку.
Видишь, как она качается?
Ошибется вышкомонтажник,
Сфальшивит его рука –
Свалится буровая.
Качается железный великан.
Не спокоен маленький человек.
А кто из них великан?
Душа моя заливается
Восторженной лайкой:
Впервые вижу я
Таежного дирижера!

Сплетня

Словно белка по деревьям,
Скачет сплетня по деревьям,
Длинноногим лосем ходит,
Егозит лисой-пролазой,

Залетает в окна птахой,
На зубах хрустит, как сахар,
Языкастым хмелем бродит,
Затуманивает разум.

Ходит сплетня меж домами,
Топчет, как цветы весною,
Как детей новорожденных,
Мажет сердце липкой слизью,
Топором висит над жизнью,
Ранит острою косою,
Как побеги трав зеленых.

Скачет сплетня меж домами.
Языкастая, как пламя.
Обожгла леса – и стали
Словно чучела деревья.
А могли бы здесь плодиться
Куропатки и синицы,
И олени бы гуляли
По зеленому кочевью.
Не чеши язык словами,
А чеши язык зубами,
Пожалей себя, посмейся
Неразумью своему:
Ну зачем леса сжигать нам,
Ну зачем цветы топтать нам,
Из живого человека
Делать чучело к чему?

Сердце

Люди сердца не щадят,
Словно знать не знают люди,
Сколько добрых песен в сердце,
Словно знать не знают люди,
Как умеет плакать сердце…
В сердце все, что людям нужно
На земле для вечной дружбы:
В нем бессилье, в нем и сила,
В нем и солнце, и ненастье,
В нем родится слово «милый»,

Запеленутое в счастье.
Бессердечный лезет в драку,
Как собака на собаку,
И врага по-волчьи кличет,
И рычит, и рвет добычу,
Рвет добычу в гневе лютом…
Что без сердца делать людям?
От вина хмельны бываем,
Видим деньги – тянем руки,
Лишь о сердце забываем,
О его негромком стуке…
А без сердца пьян не будешь
От любви весною ранней,
Сердца нового не купишь,
Если биться перестанет…
Жить без сердца невозможно –
Будите с сердцем осторожны!

***

Не терпелось друзьям отыскать меня,
Не желали друзья потерять меня,
Нареклись друзьями – и продали,
Сбыли с рук, одиночеству отдали…
Слов «друг» – золотое, красивое
Почему оно лжет-притворяется,
Дребезжит, как монета фальшивая,
Нагишом непотребно кривляется?
Не терпелось друзьям приманить меня,
Приласкать меня, одарить меня…
Обогрели – обморозили,
Поиграли со мной – и бросили…
Словно в гости меня пригласили, –
Пригласив, отказали от дому;
Словно рюмку вина налили,
А потом протянули другому;
Словно девушку мне сватали,

А сосватавши, сразу спрятали;
Словно голову мне погладили,
А погладивши, вдруг ударили, –
Что-то в сердце моем состарили,
Струн певучих поубавили…
Как побитое, плачет слово, –
Долго светлому не распеться!..
Дружба легкая и душевная,
Как ты дорого стоишь сердцу!

Дикари двадцатого столетия

О дикари двадцатого столетья,
О варвары с холеной кожей белой,
Не открывал Колумб вас на планете,
И не о вас сложил стихи Лонгфелло.
Ваш озлобленный ум хитер и сложен,
И, приходя в тропические страны,
Вы убивали песню чернокожих
И на людей охотились с арканом.
Болит моя душа, как будто сам я
Лежу ничком, придушенный арканом,
И не в меня ли это мечет камни
Оскаленная банда ку-клукс-клана?
И не мое ли раненное тело
В пучину моря тащат кашалоты?
И не меня ли жгут напалмом белым
Рабовладельцев этих самолеты?

О дикари двадцатого столетья!
Вы слышите ли там, за океаном,
Как чернокожие кричат под плетью:
«Мы тоже люди, мы не обезьяны!»?
Свободы клич – он слышится повсюду!
С отекших ног своих колодки скинут
Те, кто дробит урановые руды,
И сгинет грозный призрак Хиросимы!

Есть на земле глаза темнее мрака:
В них боль веков и в них надежды пламень.
И если б те глаза умели плакать,
Они б могли прожечь слезами камень.
И есть печаль, что даже слезы сушит.
К печали той большой и я причастен,
И мне бы тоже наплевали в душу,
Когда б я был у дикарей во власти!

Меня связали с той далекой болью
Единых дум, единой крови узы,
Меня бы тоже отдали в неволю
И придавили непосильным грузом.
Ловили бы арканом, как оленя,
Томили б жаждой и стегали плетью,
Когда б меня не спас великий Ленин
От дикарей двадцатого столетья!

Жив ещё идол

Дом высится, как Урал…
Глаза мои, наверное, круглы, как две луны?
Двери, как ущелье, посреди стены.

В дом захожу, как в священные горы,
где сильнее меня валуны.
Где раскосые идолы, вырубленные из полена,
думать за меня должны…
Захожу.
Света много в доме,
как в белую ночь,
и людей много, как кочек в тундре.
Один человек почему-то
все кланяется мне,
как идолу когда-то
кланялись манси…
Кланяется его с каемочкой фуражка,
а я уж так не умею –

в школе нас отучили
от этого давно, в детстве.
Почему он кланяется мне?
Я стою и думаю:
не принял ли он меня за знаменитого осетра
или за семисильного идола?
Но идолов давно уже нет,
нет и злых духов…
Стою и думаю, смотря на него.
Вот берет он за руку
русское мое демисезонное пальто
и идет вешать на вешалку,
что похожа на ветвистые рога оленя.
Вот уже висит мое пальто
среди других.
Они висят, как рыбацкие сети
вдоль частокола.
Стою и думаю.
Может, идолы вправду воскресли
и мне передали свою силу
или, может быть, я сам некий
лесной дух?
Я отхожу от гардероба
пораженный,
как человек, после долгой зимней ночи
увидевший солнце.
Человек в фуражке
снова кланяется мне
и подбрасывает на пухлой, как снег, ладони
серебристую рыбку-монетку.
И я догадываюсь: не я великий дух,
а серебристая монетка…
Жив еще идол!

Лунное море

Моей дочке Оринэ

Тебе приснилось море лунное
Во тьме ночной.
Расти, моя дочурка, умною,
Расти большой.
Мечту, как елка хвою колкую,
Не растеряй,
Среди подружек стройной елкою
Расти, сверкай
И в море ласковое, лунное,
Во тьме ночей,
То золотое, то латунное
Плыви смелей.
Я тоже был когда-то маленьким,
И до поры
Мне тоже снились сны-журавлики,
Сны-осетры.
Я рос в тайге, потом жил в городе.
Студентом был,
Ночами белыми я в годы те
Бродить любил
По самым гулким в мире набережным
Под плеск воды.
И тоже в день стремился завтрашний
Своей мечты.
Играла музыка мне струнная
Всю ночь во сне.
Вот только, дочка, море лунное
Не снилось мне.
Возьмет корабль тебя космический
На борт крутой.
Ты вспомнишь, дочка, сон провидческий.
Ночной звездой
На небе вспыхнет ослепительно.
Плыви, лети!
Но вниз оттуда снисходительно

Ты не гляди.
Смотри серьезно и внимательно.
Пусть с корабля
Тебе откроется блистательно
Твоя Земля.
Ее убор, морской и лиственный,
Снега, жнивье.
Живи в разлуке с ней, единственной,
Лишь для нее!
Тебе приснилось море лунное
Во тьме ночной.
Расти, моя дочурка, умною,
С большой душой.

Каменные деревья

По каменному городу иду,
Иду, как по дремучему, таинственному лесу.
Колышутся все люди, как деревья,
Как те деревья, что идут сквозь ветер…

Когда тайга колышется, то ноги
Деревья прочно прорастают в землю,
Они упрямо держатся за землю,
Они идут под землю глубоко.

Они как эти вот земные люди,
Что цепко за хрустящие бумажки
Схватились. Но когда тайга несется,
Тогда деревья ноги не идут.

А может быть, вот так и эти люди
Стоят на месте прочно, как деревья?
И просто это кажется, быть может,
Что вот они – бегут, бегут, бегут?..
Когда ж бегут – куда бегут? Откуда?
Куда спешат? Что думают? Не знаю…

Вот этот смотрит на меня надменно,–
Он, как сова высокая средь леса,
В чьих ветках, с круглыми глазами.
Он удивлен – что удивляюсь я!

А вот другой, да он руками машет,
Как будто ель ветвями, и все время
Учить меня пытается угрюмо:
«Не верь! Не верь!» – И вновь: «Не верь! Не верь!»

Проходят мимо люди, как деревья,
Те, чьи вершины полны глухарями,
Они бегут – и ничего не видят,
Они не слышат – и вовсю спешат.

А вдруг и я здесь заблужусь однажды,
Как дерево среди других деревьев?
И, словно медвежонок в зоопарке,
Во мне родится новая душа?

На каменной траве резвятся ж звери?
И я тогда навеки позабуду
Моих оленей, быстрых, точно слово,
И кедров, запах от которых – запах снега!
И рыбок, плеском веселящих слух…

Неужто я не буду вновь рождаться
С весною каждой и неужто руки
Не буду омывать в глубинах рек?
Неужто я все это позабуду –
И стану деревом?..

Песнь шестая

Обь и Нева

М.А. Дудину

Рано мать моя скончалась,
Рано счастье отсмеялось.

Я стоял над обской кручей,
Слезы лил, как дождь из тучи.

Обь, сердечная, вздыхала,
На колени нежно брала,
Из бересты у причала
Колыбель мою качала.
Сердце сына захлестнула,
Свой напев мне в грудь вздохнула.

А теперь в полдневном солнце
Предо мной Нева смеется.
Кажется: у ног, сверкая,
Катится волны Обь родная,
Плечи мне обвив руками.

Так же щедро ветерками
Невскими я зацелован,
Той же ширью очарован…

Пусть не люльку у причала –
Ты, Нева, мой ум качала;
Крылья мне дала навечно.
О спасибо, друг сердечный!

Схожи рек различных воды,
И добры сердца народов –
Потому я всюду дома,
Все родные, все знакомо.

Юлиан

Когда я смотрю на отца, голубоглазого, кудрявого, когда любуюсь, как он мастерски перебирает в неводе сосьвинскую селедку, когда я слышу легенды о нем, живом, о коммунисте, одном из организаторов первых мансийских колхозов, невольно задумываюсь: а кто же я такой?

Когда околдован я длинными, как зимняя ночь, сказками, когда в древних песнях вдруг кольнут меня слова:

«Мы уйдем, покинем землю,
Чтобы больше не родиться…» –

я задумываюсь: а кто такие манси?

Еду ли по степям Бурятии, брожу ли по древней Новгородской земле, беседую ли на берегах Дуная с каменным Юлианом, я задумываюсь о судьбе народа…

Юлиан…

Его каменная рука протянута к Уралу.

«Оттуда мы пришли, – говорит он. – Я сам в этом убедился еще в XIII веке, когда ходил на поиски прародины венгров. Там встретил родственные племена и язык понятным. И на Урале жили угры…»

«Но с востока в то время подул черный ветер, и по прекрасному лицу Земли побежали черные тучи. Они сметали все на своем пути, не оставляя и камня на камне…

Тучи угрожали и Венгрии. Но осилить высокие горы им не удалось. А мелодичные звуки родственной уральской реки, говорят, исчезали наверно…» – каменно вздохнул Юлиан.

Мне пришлось поспорить с Юлианом на мансийском языке. Услышав знакомый звук речи, он высоко поднял каменные брови – мол, как ты справился с веками?

«Будут жить одни лишь мыши», – вырвалось когда-то и истерзанного сердца моего далекого предка… Я мышь? Нет! Я человек! Так, значит, я и в правду выжил! Выходит, что предки все же верили, что холоду не вечно царствовать… И взойдет однажды не холодное, а теплое, щедрое, разноцветное сияние. И тьма растет. И Люди станут братьями.

И потому, наверное, северные женщины, завязав в берестяные люльки своих малышей, закинув их за спины, шли в болота, туда, куда никто не доберется… И там начинали новую жизнь.

Так много раз, наверное, умирал я, так много раз, наверно, вновь рождался, и женщины несли меня, верю, что взойдет волшебное сияние и я заговорю, раскрою сердце древних, а добрый мир будет слушать древнюю исповедь.

1

Не видел солнца я зимою вьюжной,
И девушки своей не знал до сорока,
И с Нуми-Торум не водил я дружбы,
Покуда не сдружился он с Востоком…
Мой Юлиан!
Прости, что это имя
В моих стихах доныне не звучало…
А ты ходил дорогами моими,
Искал меня за каменным Уралом.
На древнем языке моем певучем
Хотел ты говорить, как дождь с рекою,
Как девушка с любимым, самым лучшим.

Да, мы с тобой когда-то были вместе!
Мы встретились, как брат с любимым братом.
Как две березы, мы стояли рядом,
Как две реки, сливались наши песни.
С тех пор прошло почти тысячелетье.
Какое имя я носил в ту пору?
Быть может, тихое, как птичий шорох,
Быть может, громкое, как рокот меди?

2

Не в имени дело.
Я мчался на крыльях,
А лошадь искрилась
Морозною пылью.
А лошадь была
Тонконогой и быстрой,
А лошадь летела,
Как искра, как искра…
…А рядом кудрявые бродят бараны,
Они муравьями в снегу копошатся,
Черны, слов уголь.
Как дивно и странно –

На севере вьюжном
Откуда им взяться?
По сказкам и песням
Бредут, словно тени,
В легендах блистая,
Как черные стрелы;
От прадедов к юным
Бредут поколеньям,
По снам моим бродят,
Как новая эра,
По тысячелетью,
Как по равнине,
В легендах мансийских
Все бродят и бродят.
Какое носил я
Старинное имя?
И что обо мне говорили в народе?
Быть может, я в городе
Жил высоченном,
Где вар в раскаленных котлах
Кипятился?
Надежными были
Той крепости стены,
И в город тот было
Врагу не пробиться.
На стену взглянув,
Криводушные волки
Назад возвращались
С оглядкой пугливой.
Потели рубахи
Из лунного шелка,
И сабли в ножнах
Засыпали лениво.
Тесал я в том городе
Горные камни.
Из камня ваял я

Свой образ веками.
И дрался с шайтаном,
И в битвах неравных
Шайтан, как стекло,
Разбивался о камень.
Асю жизнь я отдал
Тесанию камня.
И в сказках бродить и бродить
По векам мне…

3

Тысячелетье…. тысячелетье…
Какое имя я носил в ту пору?
Мир древних сказок и широк, и светел.
В нем все волшебно – и моря, и горы.
Я тоже сказочный. В одной руке держу
Я молнию. В другой пылает солнце.
И вот на сказочном коне сижу,
И конь галопом сказочным несется.
Зовут меня Отыр – небесный сын.
Богатырем слыву я у народа,
И льются песни славные, как жир,
Что выплеснут на вздыбленную воду…
В грядущие лечу я времена
На звуках песен плавных, как луна…
Я прирос к ним накрепко,
Как к спине коня,
Мчат легенды буйные
Буйного меня:
За леса, что чешутся
Небо гребнем синим,
За болота вязкие,
Как навоз лосиный,
За века длиннее
Длинной ночи Севера,
Той, где слез не считано

И скорбей не мерено.
Только сердце екает
От полета быстрого…
Вот упал замертво
На поляну мшистую,
Травкою волшебною
Ожил я под утро
И взлетел под облако
Острокрылой уткой…

Мой Юлиан,
Под сенью темных крон
Встречались мы,
Как брат с любимым братом,
И, как два кедра,
Мы стояли рядом,
И речь лилась,
Как санквылтапа звон…

Как два весла по волнам дружно бьют,
Так два коня несутся дружной рысью,
Как жир по волнам, плавно льются мысли,
И на единый лад сердца поют!

В мансийских загадках и сказках летят кибитки с пятеркой лошадей. Скрипят колеса… Дремучая тайга, топкие болота, вьюга снег… Моя загадка: разве в тайге, где поют полозья, могут скрипеть колеса степной кибитки?

Неужели она не увязнет в болоте? Если нет, то как она попала в сказку, в сознание северного народа?

Моя загадка: почему кибитка с колесами, кони и степь так же понятны манси и ханты, как соболь или конь, словно они составляют часть их повседневной жизни?

Может, нам поможет легенда?

Представьте седую старину.

К усталому пахарю, склонившемуся к деревянной сохе, подходит

человек в черном одеянии монаха. В руках у него посох, а в глазах – вопрос. С удивлением он смотрит на длинную домотканую рубаху и плетенные лапти русого пахаря и что-то спрашивает на непонятном языке. Вслушается в речь крестьянина, не уловив знакомых звуков и слов, безразлично взглянет на не вспаханное еще поле, на вспененного коня, заряженного в соху, и под ногами странника опять пылится дорога.

Идет он по знойным степям, где травы колышутся, пасутся табуны коней и гурты овец. Пробирается он сквозь чащи лесные, где на ветках рычат росомахи, медведи играют с медвежатами. Плывет он по рекам, где рыбаки бьют острогою серебряную рыбу. И всюду он вслушивается в речь разноликой, развязной Земли. Уставший от дождей, длинной дороги, иногда он теряет веру… Но, отоспавшись на сеновале у гостеприимных хозяев, при взгляде ясноглазого утреннего солнышка, у него в душе просыпается тот же самый вопрос: «Откуда пришли венгры, где родственный язык?» И, помня завет предков, он опять шагает к восходу золотого солнца.

И вот однажды, подходя к стойбищу, вдруг он слышит задорный мальчишеский голос:

– Хотанг, хотанг!

«Не ослышался ли? – подумал Юлиан. – Это так похоже на венгерское слово «хоттуй» (лебедь)».

И правда, над стойбищем, шевеля крыльями, как белые облака, плыли лебеди. Почуяв дымок жилья, услышав непривычные лебединому слуху звуки, они чуть встрепенулись, сделали два-три быстрых взмаха и снова ровно зашелестели крыльями.

А мальчишеский голос не унимался:

– Анека, анека, хотанг!

«Анека» – это венгерское слово. «Мама» означает оно. Даже все звуки почти совпадают. И так же плавно растягиваются слова, и ударение на первом слоге. Лебеди уже улетели. В небе остались одни облака. А на поляне мальчик возился уже с черной, как ворон, лайкой.

– Кутя, кутя! – ласково звал он собачку, когда она убегала. Нет, это не кличка. Это по-венгерски «собачка».

На лужайке, недалеко от стойбища паслись лошади. Они щипал траву и ритмичным помахиванием хвостов отгоняли надоедливых мух. Из жилища вышли двое мужчин и направились к лужайке. Они говорили что-то о лошадях, потому что несколько раз повторяли слово «лув». В одном из венгерских диалектов слово «ло» (лошадь) так и произносится «лув».

Юлиан выходит из укрытия и идет к мужчинам. Здоровается с ними по-венгерски. И они понятливо кивают головами. А волосы у одного черные, как у венгров, а у другого почти русые, заплетенные сзади в короткие косички. Удивленно они смотрят на длинную странную одежду пришельца, так не похожую на их узорчатую одежду, сшитую из налимьей шкуры.

С любопытством детей слушают древние старики человека, пришедшего с другого конца земли, где «лето вечное, как время», и силятся припомнить легенды о прошлом своего народа, о том, как часть племени в погоне за летом отделилась и ушла в край, где вечное лето.

Юлиан угощает хозяев пряным напитком своей солнечной родины и, счастливый, вслушивается в понятную речь рыбаков и охотников. Рыбу, которую добывают они в звонкой речке, бегущей вдали виднеющихся гор, они называют «хул». По-венгерски это звучит чуть по-другому – «хал».

– Не забыли еще лошадей. Хорошо! Седла, вся сбруя лошадей называется так же, как и у нас, у венгров.

«Видно, в прошлом наши предки были скотоводами», – задумывается Юлиан. На склонах гор – стада оленей. Их хозяева зовут «сали». И во всем, что связано с оленями, Юлиан не нашел ни одного родственного его слуху слова.

«Видно, этому они научились позже, так, как мы виноградарству, – рассуждает про себя Юлиан. – Они ведь о винограде и понятия не имеют. Это я уж точно знаю».

А вдали белеющие горы они зовут «Ур-алом». «Ур» – хребет, гора. «Ала» – крыша гор, крыша хребтов…

– Вот где я нашел родственные венграм племена! – может быть, воскликнул монах Юлиан, отправившийся на поиски природы венгров.

Землепроходец Юлиан принес Западу первую весть о нашествии с Востока… Это было в тридцатом веке.

4

С той земли, где поселилось
Лето вечное, как время,
Ты принес напиток пряный
И поил лесное племя.
Мы тебя одели в шубу:
На меха узор крылатый
Мудрым был и тонким, словно
Чьих-то мыслей отпечаток.
А твоим собратьям южным
Отплатили мы сторицей
Горностаем чернохвостым,
Черно-бурою лисицей.
Мы прощались-целовались.
Мы клялись в любви и дружбе,
Но вмешался в наши речи
Дальний гул,
Как вихрь вьюжный, –
Словно вдруг подрались лоси,
Словно вдруг завыли волки…
Высоко взметнулись сабли
И стучали долго-долго!
Словно вдруг леса и реки
Сотрясло землетрясенье…
Затевая пляску смерти,
По земле помчались тени.
Наши речи, словно реки,
Онемели от мороза.
Вдруг насел двуногий тучей,
Темнолицый, плосконосый,
И язык огня запрыгал,
Словно зверь таежным краем,
И рекою, и рекою
Заструилась кровь людская.
Мы сказали Юлиану:
«Ос емас улум, друг бесценный!»

А потом припал я в гневе
К лошадиной гриве пенной.
По-медвежьи распластавшись,
К телу лошади прирос я,
И врагов рубил я саблей,
Словно уток плосконосых.
Просверкал я по востоку
Саблей-молнией колючей,
Прогремел тяжелым громом,
Пролетел синицей-тучей,
И молва стократным эхом
Мое имя повторила –
Имя грозного Отыра, –
Повторяла и забыла…

5

Куда я девался? Быть может, оглох?
Быть может, ослеп и упал без сознанья?
Как мертвый, уснул я на десять веков.
А мир без меня продолжал созиданье.
Все так же ползли червяки по земле,
И бобр мастерил деревянную хату,
И ветер чертил письмена на скале,
И мчалась орлица луною крылатой.
Семь зим отоспал я, сто зим отоспал
И тысячу зим отоспал без просыпа.
А снег на валежник сухой налипал,
Меня, как медведя в берлоге, засыпав…
Мне снились порою волшебные сны:
Сияющий город, дома-великаны,
Высокая тварь неприступной стены
И пастбища, полные черных баранов.
А сам я пастух и куда-то бреду,
Куда-то гоню я кудрявое стадо
И с миром, и с солнечным светом в ладу
Пою и пою от зари до заката.

Сплю – и просыпаюсь я на миг во сне:
Рысью, рысью, рысью
Мчусь я на коне –
За леса, что чешут небо гребнем синим,
За болота вязкие, как навоз лосиный,
Только сердце екает от полета быстрого,
Вот упал я замертво на поляну мшистую,
Травкою волшебною ожил я под утро
И взлетел под облако острокрылой уткой.
Вижу реки синие и озера синие,
Словно очи девушек, девушек России…
Семь раз
В них тонул.
Семь раз
Выплывал.
Семь раз
Меня в лед
Шайтан
Превращал.
Семь раз
Я кипел
В котле
На обед.
Семь раз
Меня съел
Колдун-
Людоед.
Семь раз,
Семь раз,
Леденела кровь.
Семь раз,
Семь раз
Я родился вновь!

6

Полярной ночью сердце плачет, плаче…
Рассвет далек.
Рассвет придет не скоро.
Но час настал – как быть могло иначе? –
Рассвет настал, и я пришел в твой город.
Ты – каменный, а я – живой, ты видишь?
Тысячелетье – это срок немалый.
Меня зовут певцом. Не будь в обиде,
Что на свиданье наше запоздал я.
Тысячелетье – это срок огромный.
Ты помнишь, как, готовясь к новой встрече,
Отправился ты снова в путь бездомный,
Что вновь слились, как реки, наши речи…
Но там, где жил я, – на равнине голой
Одни лишь камни голые лежали,
А горы головы склоняли долу.
И тучи плакали, и реки вспять бежали.
Как ты рыдал над мертвым, надо мною!
А я – живой, а я пришел, дружище!
И речь моя мансийская со мной,
И песнь моя своих собратьев ищет!
Из камня все – твои уста и руки…
Но что я вижу?
Камень шевельнулся.
Услышал ты знакомой речи звуки.
Услышал речь родную и проснулся,
Высоко поднял каменные брови –
Мол, как, певец, ты справился с веками?
Мол, как не утонул ты в море крови?
Мол, как сумел не превратиться в камень?
Я жив! В огне становится железо,
Как женское податливое тело,
В морозы лютые горит железо
И рассыпается золою белой.
И я огонь и стужу вынес, слышишь,

Мой Юлиан, чтоб нам с тобой обняться.
Ты удивлен, что учащенно дышишь,
Мой Юлиан, не надо удивляться!

7

Так было задумано: здесь, на горе,
Высокая встреча дана нам судьбою.
Здесь волны Дуная в стоцветной игре,
Здесь Буда встречается взглядом с тобою.
Девчонкой на пляже здесь нежится Пешт,
Горят, как янтарь, виноградные кисти,
И к солнцу повернут лицом Будапешт –
Нарядный подсолнух в пыльце золотистой.
Здесь женские очи чернее в сто крат,
Чем сливы в разгар урожайного года.
Здесь мир охраняет Советский солдат
И Женщину
С именем звучным – Свобода.
Я счастлив, что есть этот солнечный путь,
Которым я шел, чтоб с тобою обняться,
Я горд за народ твой, сумевший вздохнуть,
Как воздух, идею всемирного братства!
Он тронул меня, словно ветер волну,
И трогаю я за струною струну…

Песнь седьмая

***

Нет у меня ружья,
Нет у меня ножа,
Лук мой тугой потерян.
Стрел давно не точу –
Ни птицу, ни злого зверя
Я убивать не хочу.

Но замахнется если
Кто-то на правду мою –

Срежу такого песней,
Словом его убью.

Кара-юйя

***

Я – певец глухариных урманов,
Я – шаман зацветающей тундры,
Сын Луны и племянник Солнца,
Заклинатель неправды и злобы,
Юван с Сосьвы – Реки Горностаев, –
Позабыв все свои заклинанья,
Сдал в музей бубен громкопоющий,
Бубен из лоснящейся кожи
Белого годовика-оленя, –
Колдовать я теперь зарекаюсь
И шаманить уже не хочу!
Кара-кий-я! Хос-хос!
Кара-кий-я!

***

…Дымно-кроваво блестя
Отблеском дальних пожаров,
Черные вести летят
На черных крыльях гагары.
Проливню горьких вестей
С крыльев гагарьих пролиться…
Над головою моей
Кружит чернозобая птица,
И, сквозь настой тишины,
Синей, густой и соленой,
В шорохе крыльев слышны
Жалобы, крики и стоны.
Так открывается мне
Ми раскаленных звуков;
Грохот и стук камней,
Месиво лязга и стука,

Падая, рвется снаряд.
Лают, как псы, пулеметы.
Змеями мины шипят.
Быками ревут самолеты.
Свист, перехлест ветров,
Едкий запах угара.
Капает алая кровь
С черных крыльев гагары.
Огненный дождь льет –
Хлещет косо и прямо…
Входит в сердце мое
Большая Беда Вьетнама.

***

По утрам рассвет над Вьетнамом кроваво-красный.
Кара-юйя!
Вечерами закат на западе кроваво-красный.
Кара-юйя!
Нечего плакать, и нечего выть понапрасну.
Ой-я! Ий-я!
Если день над миром встает
От гари и копоти грязный…
Ой-я! Ий-я!

Алой кровью вьетнамец корни бамбука политы, –
Бамбуку больно…
Ой-я! Ий-я!
А не этой ли кровью
Густо заляпаны плиты
Перед памятником Линкольну?!
Ой-я! Ий-я!

Кто же повинен, что в этом подлунном мире
Гремит война,
Что снарядной метелью
Земля сожжена и изрыта?
Кара-юйя!

Нет, конечно, конечно, не ваша в этом вина.
Господа с Уолл-стрита!..
Ой-я! Ий-я!
Ваши души господь соткал из нежнейшего из эфира
И покрыл их глянцем.
О блистательнейшие заправила «свободного мира» –
Демократы и республиканцы!
Ой-я! Ий-я!

О добрейшие!..
Сердца ваши в предвечерней тиши
Загрустят и слезой обольются…
Благородные движенья вашей светлой души,
Гуманисты! Человеколюбцы!..
Ой-я! Ий-я!

От занозы на лапке кошачьей – ранки…
«Ах!.. Жаль!..»

Кости людям ломая, грохочут танки…
«Не моя печаль!..»

На окошке цветок хиреет и чахнет…
«Погибнет, боюсь!..»
Человеческой кровью в мире пахнет…
«Ну и пусть!..»

Над издохшей собачкой любимейшей
Погребальных речей
Растекся ручей:
«Ка-а-ккая уж-жасная дра-ма!..»

Черепами сынов ваших вымощен
Путь через джунгли Вьетнама.
Кара-юйя! Хос-хос!
Кара-юйя!

А пока во Вьетнаме гудит война,
В лихорадке трясется ваша страна,
За войну голосуют в сенате «столпы»,
Поминают убитых в молитвах попы,
И захлебывается в истерике
Ваш истошный «Голос Америки»:
«Попирают права человека
Вандалы XX века,
Угрожают культуре и цивилизации,
Хотят уничтожить все белые нации
Эти раскосые,
Черноволосые,
Желтолицые «вьетконговцы» –
Злейшие наши враги!
Стреляй их!
Жги!»

В коротком сне, тревожном и тяжелом,
Я стал Вьетнамом, гордым и веселым.

Я жил свободно, жил, не зная горя,
На берегу бушующего моря.
Но серой паутиной паучьей
Заволокли большое солнце тучи.
Врагом, пришедшим из-за океана,
Кровоточащая нанесена мне рана.
Седые волны в берег бьют упрямо.
Дымится в кровь, святая кровь Вьетнама.

Проснулся я. еще сыро и рано.
В груди моей болит Вьетнама рана.
Ужель ты можешь к боли притерпеться,
Мансийское мое лесное сердце?!
Кара-юйя!
Кара-юйя!

***

И вот беру я с музейной полки
Звонкий бубен мой,
Древний мой бубен,
Бубен лесного моего народа,
Бубен тундрового народа.
Музейную пыль я с него сдуваю,
Осторожно его вытираю,
Древний бубен мой, звонкий мой бубен,
Рукавом своей белой рубахи
Над костром добра его грею,
Грею над пламенем светлой надежды
Бубен из гладкой оленьей кожи,
Грею, чтоб кода его натянулась,
Чтоб охотней она отвечала
На удары моей колотушки,
На удар птичьей жилистой лапки,
Лапки птицы большой черноперой,
Птицы вещей – крикухи-гагары.
Кара-юйя! Хос-хос!
Кара-юйя!

***

Только раз в бубен громкопоющий
Колотушкой ударил я черной.
Только раз. Один лишь раз.
Ой-я! Ий-я! Ой-я! Ий-я!
Слушайте это слово,
Люди, живущие в чумах,
Манси – лесные души!
Слушайте!
Слышите?
Снова
Земля содрогнулась от шума
Взрывов, от грохота пушек
В дальней части планеты,

В городах какой-то державы
(Догадайтесь сами: которой?)
Появились вдруг
Людоеды,
Людожоги
И Людодавы,
Людогрызы
И Людожоры!..
Жили люди на свете,
Радуясь солнечной ласке, -
Сеяли, жали, любили…
Откуда же Чудища эти
Вышли? Из страшной сказки?
Или из черной были?
… Посевы под солнцем дремлют.
Бамбука неясен лепет,
Плещется рыба в реках.
Жатвы приходит пора…
Чудища жирных земли
Превращаются в горячий пепел.
Для них убить человека –
Все равно что убить комара.
Эй, манси – лесные души,
Спокойны дымки ваших чумов,
Прямые, словно хореи,
Стоят они над тайгой…
Вам надо учиться слушать
Чудищ черные думы,
Свой взор отточите острее
Радугою-дугой!
Слышишь, народ мой?..
Слушай!
Пускай побелеют ночи,
Пусть Арктика станет знойной,
Огонь побежит по воде,
Пусть струнами станут души,

Пускай они грозно рокочут:
«В мире неспокойно –
Убивают людей!..»

***

Дважды в бубен громкопоющий
Бью я заветною колотушкой.
Дважды в бубен я громко бью!
Ой-я! Ий-я! Ой-я! Ий-я!
Эй, вы,
Убийц родившие Громады-города!
Ужели ваши каменные лица
Еще не покраснели от стыда?
Ужель и вы такие же убийцы?!
Кара-юйя!

Ужели ваши каменные лбы
Не сморщились от ужасов, творимых
Сынами вашими в чужой земле?
Глядите:
пламени стоят столбы,
И дети задыхаются от дыма,
И вся округа в пепле и золе,
В золе и пепле…
Кара-юйя!
Ужели ваши каменные руки
Не могут их, рассудок утерявших,
Остановить?
Ужели ваши души
Настолько заскорузли, что и муки
Горящих, от напалма смерти принявших,
Покоя каменного не нарушат?
Кара-юйя!

А может, вы навеки утомились
От взглядов солнца, от улыбки ветра,

От груза знаний, тех, что накопились
В хранилищах, в библиотечных недрах?
Ужели Смерть –
Сообщница Науки?
И разве вам сегодня безразлично,
Какими завтра будут пять частей
Земли, ее лицо и голубые руки
Воды, и голубые глаза детей,
И день, как жизнь, обычный?!
Кара-юйя!

Ужели беспредельное познанье
Ведет к безверию и безразличью?!
Ужель Война –
Лишь только наказанье
За тягу человечества к величью?!
…Квасцами кожа бычья дубится.
От едкой соли раны тяжко саднит…
А может быть, и сам ваш бог – Убийца,
Кровавое Убийство – вот ваш праздник?!
Кара-юйя!
Кара-юйя!

***

Трижды бью я в мой старый бубен
Лапкой птицы гагары горластой.
Ой-я! Ий-я! Ой-я! Ий-я!
Трижды в бубен я громко бью!
Кара-юйя! Кара-юйя!
Теперь самого себя спрошу я,
Самому себе бросаю
Я заслуженный упрек:
«Почему ж ты молчал так долго?
Почему же гражданским долгом
Так постыдно ты пренебрег?!
Может, ты жить хотел поспокойней:

Чужую беду, мол, знать не хочу я…
Ревом ревут быки на бойне,
Запах крови собратьев чуя.
Кара-юйя!»

Зная, что шастает смерть по лесу,
Глядя в ночь через тьмы завесу,
Нюхая воздух, пахнущий пылью,
Нюхая ветер, пропахший злом,
Сохатые зренье свое напрягают,
Рога свои грозно к небу вздымают,
Рога, раскидистые, как крылья,
Готовят копыта для встречи с врагом.
Кара-юйя!

Дружбе и братству учит Природа!
Пчелы-летуньи, сборища меда,
Улей родной от беды защищая,
Крылатых сестер своих выручая,
Гибнут, жалом врага поражая.
Гибнут пчелы, но в сотах живет
Сладость жизни – янтарный мед.
Кара-юйя!
Я не пчела, не бык и не лось,
Много в жизни познать мне пришлось,
Все это в сердце переплелось:
Голод седою,
Огонь с водою,
Счастье с бедою…
Хос-хос!
Я не пчела, не лось и не бык,
Так почему же молчит мой язык?
Так почему же песня молчит,
Если сердце мое от боли кричит?!
Хос-хос!
Я не сохатый, не бык, не пчела,

Ненависть сердце мое зажгла.
Слушайте ж вы, вершители зла:
Я проклинаю ваши дела!
Хос-хос!

Ненависть, огненным градом стань,
Ненависть, молнией с неба грянь,
Всей силой Солнца,
Всей силой Земли
Чудищ проклятых испепели!
Хос-хос!

Бубен мой старый, громко гуди,
Все человечество разбуди,
Совесть всесветную разбереди!
Хос-хос!

Люди! Эй, люди!
Откройте глаза!
В яростном мире бушует гроза,
Костями людей засевают поля,
Кровью потеет старуха Земля.

Солнечным утром, в полуночной мгле
Бродит Смерть по планете Земле!
Хос-хос!
Чтоб струи напалма леса не сожгли,
Чтоб реки светло и прозрачно текли,
Чтоб дети повсюду спокойно росли,
А не корчились в смертоносной пыли,
Чтобы мир наш, коротко крикнув: «Пли!» -
Чудища кровью залить не могли,
Бдительны будьте, люди Земли!
Кара-юйя! Хос-хос!
Кара-юйя!

Пусть горит костер

Если даже весна разоткала узор
На лугах, все равно не гаси свой костер.
Даже в солнечный день, даже в теплую ночь
Он тебе пригодится. Он может помочь.
Ни проворства, ни сил не жалей, не жалей.
Пусть пылает огонь, чтобы стало теплей.
Видишь, сколько дремучего леса вокруг?
Не скупись на дрова, не щади своих рук!
Человеку от стужи дано умереть,
Если вовремя рук он не смог отогреть.
Где ни хлеба, ни дров – только голод и снег.
Так слабеет и гаснет с тоски человек.
Знай, что сердце не лед – от огня не умрет,
Но без щедрого пламени станет как лед,
Пусть пылают поленья, треща и звеня, –
Подложи-ка еще, сердце просит огня!
Там, где гаснет огонь, где сердца холодны,
Там беззвучно рождается ветер войны,
Тихой-тихой змеей он ползет по земле –
Не забудьте, земные, о мирном тепле!
Не забудь, человек, о высоких кострах,
Даже если метели высоко в горах,
Если даже тебя не морозят они,
Пусть не гаснут костров золотые огни!

Песнь восьмая

***

Не шумите, не пляшите!
У огня – глаза и уши.
Говорили предки манси:
Пламень слышит и глядит.

Если глаз ему проткнете –
Он ослепнет, он погаснет,
Если уши прожужжите –
Он не вспыхнет, зашипит.

Погодите, не шумите!
Дров у нас в запасе много.
Разбегутся все медведи,
Скажут: экая жара!

Но найдет к костру дорогу
Путник из таежной чащи,
В котелке рыбак наварит
Золотой ухи дымящей,
И свои кисы просушат
Звероловы у костра!

Нужно вам согреть кого-то –
Приводите, я согрею,
Если что спалить вам нужно –
Приносите, я сожгу.

Не дивитесь, что на льду,
На снегу костер затеял.
Не мешайте, не кричите –
Я таежник, я смогу!

Таежная дума

Земля моя кружится – и я кружусь.
Солнце повернется – и я повернусь.

Лижут планету и тень, и свет,
Кружатся заботы, как хмель в голове.

По поднебесью гагарой лечу.
Толщу воды осетром строчу.

Смело шагаю с каменных стен
В космос за тайной мансийских легенд.

Верхнее небо – космический дым.
Жив ли ты, бог наш – Нуми-Торум?

Нижнее небо – подземная тьма.
Куль там коварный не спятил с ума?

Где ты, в каком янтарном саду?
В гости к тебе как геолог сойду.

В кожаной куртке стальною рукой
Я потревожу твой древний покой.

Ты засвети-ка хотя бы слегка
Тонкую нить золотого клубка…

Водным зверьком проплыву по реке
И муравьем постою на цветке.

В озере – тени и плеск плавников.
В венчике – шепот и смех лепестков.

Я ли не сказочный доктор Земли?
Слушаю: сердце твое не болит?

Талые воды ручьями бегут.
Дальние птахи слетелись в тайгу.

В полночь любуюсь на звездный зенит.
Лебедь мансийский на струнах звенит.

Дедов легенда – торжественный звон –
Сказку рождает для новых времен.

Земля моя, где олени бегали, где резвились соболя, какая ты сейчас?

Земля моя, где мать берестяную люльку качала, где отец на широких лыжах из камуса лосиного оставлял широкий след, какая у тебя песня?

На крылатой лодке

Я плыву в крылатой лодке
По волнистым облакам

Сквозь родное, сквозь былое
К неизведанным годам.

Высота качает думы.
Проплывают под крылом
И тайга зеленым шумом,
И в тайге отцовский дом.

Серебристыми ветвями
Машут реки позади.
И озерными глазами
В небо родина глядит.

В роще старого шамана
Восемь домиков стоит.
Нефтевышка талисманом
На груди тайги горит.

Я лечу! Я сын крылатый
Края сказочных лесов.
Будто пуговки халата,
Свет таежных городов.

Обь-река – мечты другие.
Караваны вниз пошли,
Будто камни дорогие
В древнем поиске Земли.

И железная цепочка –
Новый путь Тюмень – Сургут,
Разошьют и оторочат
Весь халат – мою тайгу.

Я плыву в крылатой лодке
По волнистым облакам
Сквозь родное, сквозь былое –
К неизведанным векам.

Предки мои верили в переселение души. И в березке, и в травинке, и в камне живет, говори ли они, чья-либо душа.

Камни, деревья, травы все слышат, видят и чувствуют. Но у них нет языка, чтобы разговаривать.

Я решил помочь одному камню, и от его имени написал «Песню камня».

Песня камня

Я – камень!
Я – вечный камень!
Коснитесь меня руками,
Щекою ко мне – я теплый.
Губами ко мне – я нежный.
Доверься, наивный шепот,
Откройся – и я утешу.
Я – камень!
Я – вечный камень!
Топчут меня ногами!..
На солнце я пламенею.
На холоде холодею.
Трава меня целовала.
Роса меня умывала.
Слезами дожди кропили.
Каленым лучом точили.
Снежинки меня кусали.
И ветры на мне плясали.
Да, был я и сер, и страшен
В праздник чужой победы:
Язычники так же пляшут
У головы медведя.
Тыщи копыт оленьих
Меня раскрошить пытались.
Тыщи потоков весенних
Сдвинуть меня пытались.
Эпохи скачут со звоном.
Коварно орлы летают.
Поблескивая на солнце,

В небе звезды считаю.
Хвались высотой орлиной.
А я парю над веками!
Войдите в мою долину –
Послушайте
Песню
Камня.
Я – камень!
Я – вечный камень!
Коснитесь меня руками.

Я помню сентябрьскую ночь. Небо было завешано медвежьими шкурами туч. Мы, интернатские ребята, еще не спали, сгрудились и переговаривались. Кто-то станет охотником. И разумеется, что князь наших лесов – медведь сложит перед его выстрелом быстрые свои лапы. Другой пойдет в бригаду рыбаков. Он уже не раз помогал отцу выволочь сеть с мясистыми муксунами! Бывало, летом поймаешь осетра метрового, веревку ему в жабры – и в воду. Садишься в лодку, и грести тебе не надо: осетр не хуже мотора. Однако настоящим мотористом быть лучше! Заманчиво и обучать детей в школе. Хорошо бы обернуться врачом-колдуном…

В ту сентябрьскую ночь вздрогнула земля. Взревела. О, что тут стало! Страшным показалось небо. Мы выскочили из деревянного дома-интерната.

За нашей каменной школой, на краю поселка, там, где вчера железной лестницей в небо стояла буровая, теперь в ночи полыхал огонь. Грозный огонь, которому суждено было встряхнуть край, обновить его. Наше ребяческое внимание скоро привлекла профессия геолога.

«За семь озер слышен треск огня, – говорили старики. – За семь рек видна его пляска… Это новый огонь!..» Не о таком ли огне мечтала душа язычника?

Эх, огненное чудо
Таинственной земли!
Не мамонты ль оттуда
Нечаянно пошли?

А может, это кони
Копытами стучат?
Уходят от погони –
И гривы шелестят?

О сказочные гномы!
О искр пчелиный рой!
И молнии, и громы
Хранятся под землей.

Тайга съежилась. Верхушки кедров стали корявыми скелетами. Брусника почернела. Под седым пеплом грибы склонили головы. Будто они задумались, расти им иль не расти. На этой опушке леса звенели и наши голоса, их оглушила своим криком проснувшаяся земля.

Все живое задумалось. У каждого зрела своя мысль.

Дума глухаря

Я – мансин, я – мансин.
Я – птица глухарь.
Мне сердце туманит
Таежная гарь.
В ушах моих пепел.
В глазах моих дым.
Куда же мне деться
От этой беды?

Священный, я верю
В разумность огня.
Священное дерево
Держит меня.

Семь тряпочек пестрых
Висит на ветвях,
Но вьется береста
В семи языках.

Преследуя зверя,
Охотник ходил
И зайца, как жертву,
Сюда приносил.

Ужель на вершине,
Священному, мне
Сгореть суждено
На священном огне?!

Плач осетра

Я – государь в подводном царстве,
Я – рыбий царь.
В глубины вод у крутояров
Течет угар.

Зачем, о небо, мутишь струи?!
Беда! Бела!
И вымер этой ночью лунной
Косяк солдат.

И плавники уже, как весла,
Черны, черны.
Нам яд черничный, видно, послан
От сатаны.

О, где раздольнейшие плесы!
О говор волн?
Давно не знали наши весны
Подобных войн.

Ловили все рыбешек слабых
Тут подо льдом.
Но так никто еще не грабил
Хрустальный дом.

О человек! Уйми пожары!
Ты сжег царя!
Я мирный царь в подводном царстве,
Спаси меня!

Расчеканен снег следами зверей. Тайга моя, наполненная писком и пеньем птиц, ты так прекрасна! Иду сквозь тебя и задумываюсь: нынче людям снятся города, космос, много говорят о нефти.

Но разве человечество забудет свое прошлое? Разве в наших потомках не шевельнется душа рыбака, охотника?

Земля моя! Я хочу видеть твой снег всегда искристым. Хочу слушать его хруст. И пусть дети и внуки мои играют в снежки. Земля моя, верю, что всегда в тайге будут стоять твои кедры могучие, не переведутся звери пушистые, не иссякнут реки рыбистые.

Пусть все живет и умирает, но родится опять, и так вечно…

Послушайте соболя.

Песня соболя

Поджигает ветер ели
Дикой искрою весной.
Но пожары и метели
Пронесутся стороной.
Много раз меня из лука
Убивали наповал –
Зная хитрости науки,
Я, как в сказке, воскресал.
Не на нефть ли променяют,
Чтобы промысел заглох?
Но себе я цену знаю
На прилавках всех эпох.
В мире мены-перемены:
То затменье, то заря.
Был я шубкою царевны,
Был я шапкою царя.
И Парижем был закуплен.
Сотни лет гулял в Москве
И не раз сидел на глупой
На боярской голове.

Был зверьком для жаркой ссоры,
Был подарком для любви.
За озера и за горы
Шли купцы на край земли.
Пусть палят меня пожары!
Я укроюсь от огня.
Только знайте: вздорожает
Шубка модная моя.

Югра моя! Мы когда-то поклонялись деревянному идолу Сорни-най – Золотой Бабе… Время богов прошло. Время творцов настало. Кто же твои созидатели? Я хочу их понять…

Песня земли

Вий-е! Вий-е!
Я проснулась.
Вий-е! Вий-е!
Оглянулась.
И нашла
В густой траве
Слово новое –
Эрвье!
Я – мансийская земля!
Вы не помните меня?
За Уралом
Снежный хруст
Да Березова
Грусть.
Думу Суриков рисует
Про окраинную
Русь:
Как изба
В снегу стоит.
В ссылке Меншиков
Сидит.
На свои пиры, походы
Нераскаянно глядит.
А теперь нашла в траве
Имя новое
Эрвье!
Имя быстрое –
Быстрицкий!
Имя русское –
Петров.
Имя крепкое –
Урусов
В переборе
Древних слов.
Вижу в холоде
Туманов,
Слышу в шелесте
Вершин
И – Фарман Курбан
Салманов,
Ягафаров
И Шакшин.
Вы ко мне пришли,
Герои,
Как в легенду,
В темный лес.
Есть болото,
Нет дороги,
И на сотни лет –
Объезд.
Я дарю вам
Запах нефти,
Грохот газа,
Древность слов.
Океан тепла и света –
Все для умных
Смельчаков.
Я – мансийская земля!
Вы же знаете меня?
Остывает уголек –
Позабыт
Мансийский слог?

Бедный, бедный
Мой язык…
На устах –
Мансийский крик:
«О Шаим! О Шаим!»
Словно хором повторим.
Говор мой далеких гор.
И звучат, как заклинанья:
«Мегион! Самотлор!»
Не умрет
Цветочек малый –
Мой язык,
Его вплели
В речь вождей
И дипломатов,
В мировой язык
Земли.

Не остановишь на небе солнце. И оленя в быстром беге не остановишь. Миг короткий, миг ушедший не воротишь. А слово может поймать убегающее мгновение.

Но какой миг минувшей жизни заключен в слове «Сибирь»?

На какой глубине веков родился это звук «Сибирь»?

Миг новой жизни, стань для людей вестью о древнем моем народе!

Миг живой жизни, стань для людей думой!

Миг живой жизни, ты словно капля глубинной нефти, сверкаешь под лучами солнца!

О слово «Сибирь», я хочу расщепить, разделить тебя на лету на тяжелые вещества, чтобы узнать тайну моего народа!

Миг живой жизни!

О янтарная капля веков, я подожгу тебя вдохновением, и ты осветишь мои стихи.

Сибирь

Привет тебе, древнее слово!
Посланец забытых веков,

Ты, словно богатая лодка,
До наших дошла берегов.

А время превратно и мглисто
Куда тебя гонит судьба?
Каким ты наполнено смыслом?
И кто же отправил тебя?

«Сибирь» – берега раздвигая,
Рекою от каменных гор
Течешь, в языках разветвляясь,
Земной обнимая простор.

Во всех ты наречиях мира,
И вот осеняя меня:
Да, были на свете сыпыры,
Скакали на быстрых конях.

И прежде чем в рокот моторов
Явилось ты в наши края,
Сыпыры широких просторов
Родили тебя, как меня.

Сыпыры – а названы югры –
По свету тебя понесли.
Сыпыры – хунгарской культуры.
Сыпыры – с остяцкой земли.

Прапрадеды ханты и манси
Лепили столицу Искер,
С востока пришли иностранцы –
Из южных степей и пещер.

Скатились в холодные чумы
От плена, но в рабство зимы…
А кто их рассудит с Кучумом?
Не станем печалиться мы.

Пусть время превратно и мглисто.
Волшебна у слова судьба.
Не страшным – торжественным смыслом
Наполнили люди тебя.

Земля моя! Твои олени щиплют сочный ягель, черные соболи резвятся на ветвях, мудрецами древними глядят на мир кедры, реки полноводные играют серебряными струями, юркие рыбы в них плещутся, а в синем небе белый-белый лебедь трубит.

Земля моя! Сибирью тебя зовут сегодня. И это древнее имя по-новому звучит.

Сибирь… Это свет и будущее!

Это сияющая нельма, плывущая на нерест.

Это пестрый рябчик, висящий на сосне.

Буровая вышка с радужным фонтаном нефти.

Горящий факел газа во тьме полярной ночи.

Сибирь… ты олень железный, мчащийся по дороге железной.

Ты корабль, улетающий в небо.

Сибирь… Новая моя сказка, которую я расскажу, когда заря зажжется и на проснувшихся травах заблестит роса.

В полночь любуюсь на звездный зенит.
Лебедь мансийский на струнах звенит.
Дедов легенда – торжественный звон
Сказку рождает для новых времен.

А какая сказка самая волшебная в мире? Земля, где качалась колыбель. Голос мамы, который ты услышишь в шелесте трав. Детство, которое не повторится…

Лирическое отступление

1

Бум, бум, бум!
То не дятел? Не ветер? Не буря?
Бум, бум, бум!
То не в роще шаманские бубны?

Бум, бум, бум!
Это в атомный век не бывает!
Бум, бум, бум!
Это небо машины взывают?
Бум, бум, бум!
Это сердце с извечной трибуны –
Бум, бум, бум!
Вам грохочет торжественным бубном!

2

Тук, тук, тук!
Это в роще зеленой?
Тук, тук, тук!
Я в бересте пеленок…
Тук, тук, тук!
Сердце в тело одето.
Тук, тук, тук!
Ищет дальнее детство.

Обхожу в тишине
Берега Ванзетура.
И лечу до планет
С мамой древней культурой.

Но, пути сокращая
На самый на краткий,
Я опять возвращаюсь
В деревню Камрадку.

Здесь, в озерном краю,
Утром мама ходила.
На коленях стою
У родимой могилы.

Улетят корабли
Да вернутся к гнездовьям.

Нет теплее земли.
Нет уютнее дома.

Голос мамы во сне…
Плакал десятилетним.
Думы мамы во мне…
Думал двадцатилетним.

В тридцать лет тишина,
И не хочется шуму.
Рано, рано она
Унесла свои думы.

Я на краешке дня.
Ветер листья колышет.
Мама, слышишь меня?
Никогда не услышит.

3

Голос матери

Мой сынок! Не печалься
У темного камня.
И дыханьем ветра
Тебя я ласкаю!
Ходят шелестом трав
Мои ноги босые,
И цветами глядят
Мои очи на сына.

Глажу нежно, любя,
Кудри с самого детства.
И гляжу на тебя –
Не могу наглядеться.

Ты подрос, дорогой,
Вместе с краем суровым.

Я повсюду с тобой,
Слышу каждое слово…

Земля моя кружится – и я кружусь,
Солнце повернется – и я повернусь.
Лижут планету и тень, и свет.
Кружат заботы, как хмель в голове.

По поднебесью гагарой лечу.
Толщу воды осетром строчу.
Смело шагаю с каменных стен
В космос за тайной мансийских легенд.

Водным зверьком проплыву по рее
И муравьем постою на цветке
В озере – тени и плеск плавников.
В венчике – шепот и смех лепестков.

Я ли не сказочный доктор Земли?
Слушаю: сердце твое не болит?
В полночь любуюсь на звездный зенит.
Лебедь мансийский на струнах звенит.
Дедов легенда – торжественный звон
Сказку рождает для новых времен.

***

М.А. Светлому

Словно тьма болезней пронеслась,
Словно жил я много тысяч лет,
Словно выходил я сотни раз
На скупой,
недобрый солнца свет.
С мордой искаженной
по лесам
Ветер шел
и нашу жизнь губил.

Я рождался,
чтобы петь, плясать,
А меня буран наотмашь бил.
Ярость боя
и бессилье слез,
И могилы глиняное дно.
Сердце из могилы прочь рвалось,
И земля ходила ходуном.
Плакали мансийцы надо мной:
Пусть хоть здесь бы он спокойно спал,
И брели заснеженной тайгой…
Время смерзлось
в ледяной кристалл.
Шли века,
И я вставал опять.
Не из чрева горестных могил
Новая меня рожала мать.
Беды ей и счастье я дарил.
Я из новых,
молодых костей,
Только в сердце
прежней боли груз.
Новая из новых шкур постель –
Прежняя в мансийском сердце грусть.
И настал, настал великий век.
И сегодня снова я пою
С солнцем в сердце,
С солнцем в голове,
Манси песню слушают мою.
И не мыши серые снуют –
Полон дом веселыми детьми.
Не пустуют нарты, не гниют,
Лодки выплывают в синий мир.
И не падают олени,
И не воют злые волки,
И враждебные нам боги

Больше души не тревожат.
Не рыдаем горькой скорбью:
«Мы уйдем, покинем Землю,
Чтобы больше не родиться
И на быстрых конях-лыжах
Не скользить за соболями».
Обь искрится рыбой-счастьем,
Словно волнами на солнце.
Не гагара, птица скорби,
Над рекой кричит тоскливо –
Я пою для века песни
Возрожденного народа!
Я не птица – не скрываюсь
Ни от стужи, ни от зноя.
Я не солнце – я и ночью
Должен свет нести всем людям!
Пусть глаза мои пылают
Жарче северного солнца!
Эти песни легче птицы
И быстрей копыт оленьих
Пусть несутся!
Это песни
Возрожденного народа!
1958-1967

Садомин Николай Михайлович

ПАСЯ, РУМА!

Предисловие

Эту быль – вещую песнь о «Русь лāтӈыӈ ōйка» (о мужчине, говорящем по-русски) я написал о своём прадеде Сотаме (Садомин), не раз услышанной в детстве и отрочестве из уст тётки Наталь (Омановой Натальи Филипповны (1907-1971 гг.), родственницы по отцовской линии. Мои родители проживали в небольших юртах Ракτья (Глинянка).

Затем в конце 30-х годов она первая переехала с большой семьёй во вновь построенный русскими переселенцами посёлок Сосьвинская кульбаза. Ее мужа – Оманова Филиппа Васильевича, манси из междуречья Сосьвы и устья Ляпина, прозвали Войканпунгк (Светловолосый). Сначала он при кульбазе устроился конюхом, затем работал завхозом. В 1939 году погиб от рук богатых оленеводов и шаманов при выезде с Красным чумом в Ляпинские юрты, о чем с достоверностью хочу поведать вам, читатели, весть о нём и других предках, особенно о старшем деде, которого звали «Русь лāтӈыӈ ōйка».

Наталья с мужем совместно имели четырнадцать детей, только восьмерых поставили на ноги. Во время Отечественной войны три старших сына: Митя, Костя и Саша – погибли на фронте.

Я и ныне здравствующие её дети хорошо помним Наталь энгк – незаурядную, неунывающую юмористку. Она знала много сказок, легенд, песен. Помню, как она интересно рассказывала о кличках и прозвищах, от которых потом образовались мансийские фамилии.

В старину люди разных деревень и юрт делились по родам на две фратрии: Пор и Мось. Пор – это род Менгквов (великанов), имеющий только мужские места жертвоприношений. Люди Мось происходят от племени Миснэ-Калтась эква (женщины страсти, милосердия). Люди этого рода имеют женские и мужские святые места.

До недавнего времени манси при обращении друг к другу мало употребляли в своей речи русские имена и фамилии, а между собой назывались по фратриальности, по родству отца и матери, по названию

места жительства, по особым внешним приметам. И русские дьяки-попы при записи фамилий манси в церковные книги сами их не придумывали, а записывали так, как манси себя называли или как называли соседи.

На русский лад они перефразированы так, что у некоторых из них трудно понять смысловое значение. Например, Таратов (тāра тови – «мимо на лодке гребущий»), Оманов (ома – «мама»), Садомин (сотам – «шумный»), Анямов (аня – «красивый»), Анемгуров (аня хурипа – «похож на красивого»), Вортупенков (вōрт пентвес – «сделали невменяемым в лесу»)...

Трудно понимаемые фамильные фразеологизмы взяты из мансийских прозвищ: Гындыбин (современное) – Хандыба (та же самая фамилия, церковная, XVII в.) по манси: Кантынг (злой), Кислобаев (хисьра тӯп пāя – «красивый, крутой набалдашник весла»), Алгадьев (алхаты – «дерется») – так пишет русский ученый-этнограф В. Чернецов, побывавший на Югорской земле в 1923 году, в книге «Источники по этнографии о Западной Сибири».

Есть и редкие фамилии, образованные от русских и мансийских слов: Лесманов (в лес манит), Чукопеликов (щука и пелы; получить рану от щуки), Ромбандеев (рапсь – «стриж», сам рапси – «глазом моргает, т.е. быстрый»...).

Называли людей по месту жительства и другим приметам: д. Посалтыт (Проточные) – Ур пуӈк ōйка (Мужчина, живущий на горке), Мāнь Тāгт āги (Дочь из Малой Сосьвы), Сукырья ōйка (Мужчина из д. Щекурьи), Сувыӈ ӗква (Женщина с тростью), Нёлпал ӗква (Женщина с одной ноздрей).

У некоторых одноюртовцев были общие обидные прозвища: жителей д. Кимкьясуй и Овырья прозывали Няркувсь (облезшие парки, меховая верхняя одежда, мездрой на изнанку), а жителей юрт Проточных – Пасталап (юкола из мелочи плотвы для кормления собак зимой).

Житель Верхнего Нильдино, ветеран войны, вот так пересказывал небылицу о Пасталап – о Собачьей юколе:

– Как-то в одну голодную зиму селяне Проточных юрт послали одного человека за рыбой в Ляпинские юрты. Гость, наевшись по-разному изготовленной рыбы, после сытного чаепития попросил юколу. Хозяин дома, показывая рукой на полузакрытый сарай

– вешала, говорит ему: «Да что ты, кум, бери юколу, сколь душа желает!». Но тот, то ли от глупости, то ли от великой скромности, собрал себе в несколько берестяных косум (корзин) только пасталап (мелочь: плотву-юколу, продырявленную у хвоста для удобства сушки). А хор – сушеный сырок без костей – даже не тронул. Вот с тех пор селян Проточных стали прозывать Пасталап – Собачья юкола.

I глава

Наталь-Энгк
О мужчине, говорящем по-русски

Мой отец, закусывая белоснежной строганиной из нельмы, хитро подмигнув левым карим глазом русскому учителю, говорит двоюродной сестре:

– Ведь ты, Наталь-энгк, по матери Сотам, по моему деду, Русь лāтӈыӈ ōйке, тоже родом из Сосьвинских юрт Овырья. Ты о нём знаешь легенду-быль. Так ты расскажи и моему другу Голошуба Улякси. Он говорит, что ему очень интересны наши песни, сказки. Спой о нём песню-весть ...

Всегда улыбчивая, смуглолицая Наталь Оман никогда при чаепитии не обходилась без шуток-прибауток. То она начинала рассказывать жуткую сказку о сопливой Бабе-яге, то загадывала загадки, а тут она задумалась.

– Помнишь, братец Миша, как мы в рыбацком стане Саквсунт павыл в устье р. Ляпина шумно играли? Днем дома оставались одни старушки, старики и дети. А он – наш дедушка Савелий – выскакивал из берестяного дома, размахивал кривым черёмуховым посохом, кричал нам вслед: «Ну, погодите, сертяра[6] полосатые! Я с вас сниму налимьи штанишки!» Тогда он, наверное, позабыл, как в чуме многооленьего дяди Хандыбы в детстве ему дали прозвище «Сотам» (озорной, шумно играющий).

Ладно, так и быть, спою для драгоценного рума и маленького братца-племянничка Микол. Да, я хорошо помню, как он сам под собственный наигрыш «журавля» повествовал о своей нелёгкой жизни.

[6] *Сертяра* – черти.

Русь лāтӈыӈ ōйка
(мужчина, говорящий по-русски)

(Первая песнь-весть)

Это было давно-давненько,
При белом царе Миколе.
Когда ваш опа-опойка (прадед)
Прожил на свете столько лет, что
Вся голова, как старый пень,
Покрылась белоснежным ягелем,
А волосинки младшего деда,
Как мшаник тысячелетней ели,
Сивыми отростками висели.
Старшего деда звали Русь латӈыӈ ойка –
«Мужчиной, говорящим по-русски»,
Слава отцу Всевышнего неба!
Слава Сорни Сянь – Калтась эква![7]
В то время уже Печорские сараны и манси
Из-за пастбищ, угодий не враждовали,
Луками-стрелами меж собой не воевали.
Нас, манси, в старину коми-зыряне
Прозывали «вогулами» – дикими лесными людьми.
Манси – это люди сердца (середины) земли,
Пришедшие с жаркой страны – Мортым Маа[8],
Где земля на две части Солнцем разделена.
Я еще в Саквсунт павле[9], меж берестяных чумов,
Соплячком бегала, вся в дымной копоти,
Держась за узорчатый подол матери,
Как дедуля Русь лāтӈыӈ ōйка, – за вербовый посох.
Опа-опойка Савелий был высоким,
Не по годам прямоспинным (стройным),
С копной кудрявых седых волос.
Раньше никогда не называли по имени,
А просто по прозвищу и родству;

[7] *Калтась эква* – женщина страсти, милосердия, дух жён пантеона.
[8] *Мортым маа* – измеренная солнцем Земля, т.е. экватор.
[9] *Саквсунт павыл* – деревня устья реки Ляпин.

По месту жительства и роду занятий;
Или даже по внешнему виду.
Моего мужа зовут Войкапуӈк – Светловолосый.
А тебя, братец, – Ракты̆ӈ я̄ ма̄нь пыг – Младший сын д. Рахтинья.
Вашего деда – Русь ла̄тӈы̆ӈ о̄йка –
Мужчиной, говорящим по-русски.
Долгими осенними вечерами,
Приехав с рыбалки, три семейных сына,
Рассевшись вокруг «яныг са̄скол»[10] очага,
Брали каждый по два трепещущих сырка.
Очистив их от серебристой чешуйки.
Начинали пластать бока и спинки сырков.
Макая в кровь и соль,
Аппетитно ели, звучно чмокая.
Довольный сыновьим уловом, полуслепой Савелий
После чаепития брал в руки тарыгсов[11] пятижильный,
Начинал петь песни о своей прошлой жизни,
Словно усыпляя себя детской колыбельной,
О том, как от собачьей болезни (мгновенно)
Вылечил старших братьев и сестру;
Не стало отца-кормильца; ласковой омы;
Как злой Хандыба-богач меж оленными
Подвешивал, как бубенчика у шеи.
Оленьей кровью поил из санхос[12] кутиной,
Размешанной наростной вербовой золой.
При этом приговаривал: «Хых! Ох! Ух! -
Я из тебя изгоню собачьи болезни Злого духа!»
Затем он мне вливал в горло на̄йвит[13] (напиток).
Мне меж тем казалось,
(При быстром беге хоптырок), что я,
Как герой сказки об Эква-пыгрисе,
Мчусь на семикрылом белом коне
Над болотистыми, лесистыми холмами,

[10] *Яныг са̄скол* – большой берестяной дом.
[11] *Тарыгсов* – «журавль», музыкальный инструмент.
[12] *Санхос* – чуман, берестяная посуда.
[13] *Найвит* – огненная вода, водка.

Меж лебедино-пуховыми облаками
В лазурной небесной синеве.

Учитель, Алексей Васильевич Голошубин, удивляясь певучей плавности и мягкости мансийского языка и образности, прерывает поющую сказительницу: «Слушай, Наталья Оманова, как у тебя здорово!.. Ведь ДНС (Дом народов Севера) как сиротский дом. Хотя там иногда и показывают немые кинокартины и в красные календарные дни русская молодежь выступает. Но это все совершенно не то.

Шаманы распускают злые слухи, что советская власть запрещает Медвежьи игрища. Нет! Этот ваш своеобразный праздник – ценный, как у русских в старое время скоморошечий театр, только с участием прирученного живого медведя. Вот и мы с вами должны привлечь участников звериного тӯлыглап[14] для выступления на сцене.

Позднее Наталь Оман действительно стала первой активисткой среди женщин манси в культбазе. Не раз выступала на собраниях Миркола[15] и на клубной сцене с песнями и женскими танцами перед своими сородичами из юрт Сӯма па̄выл, Ракть я̄ и Потрасуй, привлекая к этому делу местную молодежь и стариков.

Тут с улицы входит тётка Качан Увси с моей пупковой мамкой[16] Урпунгк Петусь[17]. Наверно, младшая сестра отца заходила в ма̄нькол (родильный дом) проведать ому и затем забежала сюда, чтобы узнать, кто же приехал к нам. Это был русский человек, в роговых очках, с блестящими стёклышками, с короткими рыжеватыми ершистыми волосами.

Прохаживаясь по дому, он говорит Наталье-эӈк:

– Хорошо, очень хорошо! Рума-эква (друг-женщина), сказывай, сказывай свою песнь-быль далее... Вот почему я с другом Мишей приехал раньше своих красночумовцев, чтоб у вас посмотреть Медвежьи пляски.

[14] *Тулыглап* – выступление
[15] *Миркол* – народный дом.
[16] *Пупковая мамка* – женщина, которая отрезала пупок при рождении ребенка.
[17] *Урпунгк Петусь* – Федосья из деревни Урпунгк.

Тут Наталь Оман вскакивает с нар, берет с железной печки ведерный медный чайник, наливает только что зашедшей Анне горячий чай, а сама, изменив голос на мужской лад и жестикулируя руками, начинает петь:

При этом смеялись мои дяди и тёти,
Шутили: «Тебя могли разорвать олени?
Да и забодать острыми ветвистыми рогами?»
Но мы видели на суровом лице деда
Черные оспенные ямочки-крапинки,
Спрашивали его без стеснения:
«Как же могли поднять тебя огромного?»
Он отвечал, до слез заливаясь смехом:
«Наверное, было мне тогда годиков столько,
Сколько сейчас вам, голопузикам.
Я сидел в люльке из упряжных ремней
И под звон бубенцов у шеи оленей,
Колокольчиков под пазухой в парке,
Не замечая дороги, засыпал вскоре.
Однажды из Хальус города
Заехал русский купец Шахов
С красным товаром и для сбора ясака.
Из многоголового Хандыбина стада
Он для приуставшего обоза
Мог заарканить любого.
Там не счесть чёрно-белых быков.
Купец едва изъяснялся с Хандыбой на пальцах,
И то с помощью остяков-каюров.
Может, русобородый не заметил меня,
Как в Медвежий праздник хитрый Хандыба
Устроил тулыглап (представление):
«А ну-ка, сиротка Сотам, для драгоценного рума
Принеси самую свежую печень из лабаза». –
«Сам сходи, милый старший дядя!» –
Уж так я им заранее приучен отвечать.
«Ах, не пойдешь?» – прикрикнул, разъярившись.

Над головой в руках блеснул сёхри[18],
Ударил меня выше пояса в грудь.
Я упал, истекая кровью.
Затем, в такт пляски, запрыгал вокруг меня,
Выговаривая колдовские шаманские слова:
«Ух! Ох! Фу-фу! Тьфу-тьфу!
Я же учил тебя не перечь старшему!»
Он все фукал: «Ох! Ух! Тьфу-тьфу!
Милая Золотая баба! Светлое, заоблачное Небо!
Помогите его оживить!
Я ж с него спустил только дурную кровь.
Ну, встань, миленький, светленький!»
Тут же к нему подскочил русский.
Выбив нож, оттолкнул Хандыбу.
Меж тем я шустро выскочил на улицу,
Быстро очистил снегом парку от крови,
Занес в чум патанку-печенку,
Купец смотрел на меня широко открытыми глазами,
Поняв, что все это понарошку.
«Давай по рукам, злой шутник Хандыба!
Отдай мне этого мальца,
Научу его читать и писать по-русски,
Будет верным помощником в сборе пушнины,
Будет разбираться в счетном деле»,
Уж позже, женившись на его дочери,
Я понял, что он спас меня от верной смерти,
Отобрал мой дух от Хуль Отыр – Духа болезни.

Все мы, тут присутствующие, заворожено смотрели на тётку – Наталь Оман, не шелохнувшись и затаив дыхание, на гипнотически разыгранную ею шаманскую сценку Хандыбы с внуком-сироткой. Даже я после окончания песни-вести не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой. Только папка смог выговорить, поблёскивая в глазах слезинками: «Вот холера, эӈк (сродная сестра), у тебя голова, как у председателя Совета. Ведь ты все запомнила, как дед Савелий сам о себе рассказывал ... »

[18] *Сёхри* – поддельный нож с узким лезвием.

Наталь-эӈк берет с нар свою пеструю оленью шубу и начинает одеваться.

– Сколь ни говори, сколь ни рассказывай, всех вестей не перескажешь. Мне пора ехать.

А суетливый русь ойка (русский мужчина) Голошуба всё прохаживается по дому взад и вперед. Он на подоконнике замечает белый листочек бумаги, читая про себя, обращается к тёте Наталь:

– Ты подождала бы тут своего мужа Филиппа. Вот-вот они должны подъехать. Слушай, Наталья, вроде у вас тут грамотных нет, я нашел записку какую-то: «Зимой 1940 года наступит конец света, полное затмение солнца. Будет вечный мрак и холод. Днем и ночью будут выть волки и собаки. Слава во Христе! Аминь!»

– Так ведь тут перед вами были две ломбовожские женщины. Одна русская, староверка, другая – мансийка-почтальон. Василия сын в культбазе как-то мне однажды говорил, что какие-то русские, сосланные, про манси тоже дрянь писали ... А что муж, Тильп? Дорога единая, не разминемся. Он едет в родные юрты и никуда не денется.

Потом весь остаток жизни горько вспоминала, почему так сказала: «Никуда не денется». Тогда она откуда могла знать, что через два-три дня навсегда потеряет своего близкого друга – мужа Филиппа.

Правда! Был такой случай. В прошлую осень, катаясь на санках с крутой горки, провалились под тонкий лёд два сына приемщика рыбы Катаева. Мать и отец этих детей или другие русские переселенцы распустили слух, будто это манси шаманы накликали беду, их дух отнял Водяной царь реки Сосьвы. Они вместе с Качан Увси выходят на улицу. Только другая тётка Качан перед уходом предупредила, чтобы мой отец и русский вечером пришли в ее дом, где проходят Медвежьи пляски-игрища.

II глава
На поминках Войканпунга (Светловолосого)

Йӣв, лылыӈ йӣв пум лӯпта! – дерево, живое дерево, листья-травы! – это наше дыхание в природе. Дерево берёт пищу от земли, а воздух – от животных и человека. Оно живет на свете тысячи-тысячи лет, а человек в Среднем мире – один век. Так он, разумное существо, во многом вечен. Его Дух после его смерти продолжает жить в Верховном Заоблачном или в Нижнем мире, вновь может вселяться также в Среднем Подсолнечном мире в душу и тело своих детей, внуков, племянников. Поэтому для умершего манси прямо на дерне земли строят домик, высотой в три-четыре бревна, с крышей из бересты или теса, с дверцей (кӑтас – «с дырочкой для руки»).

В это время рубить сырое стоящее дерево – все равно, что резать топором или ножом по усопшему родственнику. Поэтому близкие родственники покойного не участвуют в оборудовании гроба и могилы, не стружат доски и не рубят дерево. Человек на языке манси означает «хӧтпа» – это существо, появившееся откуда-то и умирающее от болезней и невзгод. Другое такое же существо «ӛлмхӧлас» означает существо, погибающее от раны, от острия топора, ножа или копья ...

Пока мы с отцом ездили в гости к дяде (к Сотам Тильп) в сосьвинские юрты Потрасуй, мимо нашей деревни Рахтынья проехали обратно в Сосьвинскую кульбазу «Красный чум» (агитбригада с кинопередвижкой) и печальный воз с покойником Оманом Тильпом (Омановым Филиппом Ивановичем, 1887-1940 гг.).

Качан Увси поведала отцу о том, что Войканпунгка убили в ляпинских юртах Мӗсыг шаманы и богатые люди. А оленный Аням Пирек говорил, что Светловолосый сам повесился возле своей лошадки Пегашки, его душу отняли шайтаны-невидимки «Крылатого мужика», покровителя деревни Мыски. Сразу же отец засобирался в новый посёлок русских на похороны Войканпуӈка. Из четырехножного зимнего лабаза он взял с собой берестяные кузовки и корзины с солёной и свежей пелядью; сложил в мешок лопатку лосиного мяса и свежемороженную ляжку оленя, чтобы там сварить соломат (густой мясной суп из ржаной муки или перловой крупы) и поставить для угощения Духа Омана Тильпа на поминальный стол.

У задней стены большого дома между двумя широкими окнами стоял гроб, сделанный по-русски из свежеструганных сосновых досок, обитый красной материей. Вдоль стен на деревянных кроватях и длинных скамейках сидят сумаюртовские родственники покойного и тётки Наталь, другие селяне.

Меня отец тащит за руку к тётке, сидящей у изголовья гроба с опущенной головой в платке. Отец со сродной сестрой обмениваются троекратным поцелуем, затем папка наклоняется к лицу покойного Тильпа, прикрытого цветастой материей, словно целует в губы. Его рот, глаза на материале были отмечены пришитыми бусинками. Вслед за отцом то же самое делаю я. Видимо, всё время Наталь-энгк (тётка по отцовской линии) безотлучно сидела у изголовья мужа. Перед ней стоит низенький жертвенный столик с разной закуской.

Справа, возле двух кроватей, стоял большой стол со всевозможной магазинной, лесной и пойменной снедью, за которым сидели только одни мужчины и между собой вели непрерывный разговор. А с другой стороны, за низенькими столиками, прямо на полу расположились женщины и пили чай. Отец садится за общий стол рядом с полноватым коренастым мужчиной, у которого чёрные волосы стрижены коротко, по-русски. Отец удивлённо смотрит на красный сундук-гроб, думает про себя: «Разве Войканпуӈка не могли положить в свою рыбацкую лодку-калданку. Ведь у каждого манси мужчины лодка отмечена родовой тамгой. Каждый мужчина на борту ее и весле вырезал топором или ножом свою родовую тамгу. Ведь без фамильной тамги в гробу Тāгт котиль ōйка (Дух середины реки Сосьвы) может перепутать, кого же везёт Хульōтыр (Дух болезни) вниз по реке в иной мир. Может, он смилостивится и не пропустит Тильпа далее, вернёт его обратно в Средний Светлый мир под лазурное солнечное небо или же отправит Дух его в Нуми-Тōрум (Верхнее Небо) – к прапрапредкам».

Правдивая весть Месыг Улякси о Войканпуӈк

Месыг Кука Улякси (Кугин Алексей Иванович из д. Месыг) тогда был депутатом Туземного комитета Остяка-Вогульского округа. Мой отец спрашивает его, как же он оказался тут.

Тот отвечает, поблёскивая своими, как чёрные смородинки, улыбчивыми глазами: «Да вот рума-учитель Голошубин Алексей Васильевич попросил меня сопроводить в последний путь Оман Тильпа. Эх, мил человек, короток наш век. Что впереди тебя за крутым мыском речного плёса ждёт, не видно и не знаешь». Тут Паланзеев Максим от испуга людям лишнее наговорил ... Мол, Тильпа кто-то повесил ... С таким здоровяком Оман двоим-троим не справиться. Говорят, через длинный переход от реки к озеру он один мог перетащить волоком трёхместную саранхап (зырянскую лодку). Я думаю, это шайтаны у Светловолосого отняли его душу ... Да потом в юртах Месыг он ни с кем не ссорился. Только почему-то после собрания и показа немых кинокартин ходил на камлание к главному хранителю реликвий-святынь предков Товлынг ойке (Крылатому мужику)».

Рано утром Суйпавыл Максим первым обнаружил Омана Тильпа, висевшего возле двух саней, под сучком когда-то молнией расколотого и наполовину срезанного сухого дерева.

Но он от испуга, выискивая следы нападавших на Тильпа людей, пробегая на перекрестке двух дорог туда-сюда, столько наследил, что словно прошло стадо оленей. После этого трудно было понять, кто тут вечером ходил; да еще под утро немного снежило.

Наталь-эӈк встает с места, берет со стола чарку вина, три раза рукой водит над и вокруг головы мужа, предлагает поднять тост в честь мужа: «Чтобы Всевышнее небо взяло тебя к себе поближе! С Нуми-Торум, с нашим прародителем выпью, помяну тебя!»

Увидев возле дверей рыжебородого русского, копальщика могилы, подходит к нему и говорит: «Рума, Пелевин Петра, Комар ойка (так называли потому, что любил плясать под «Камаринскую»), на, возьми стопочку водки, выпей за упокой моего Светловолосого. Ну, как у вас дела? Ведь завтра хоронить будем».

Тот, моргая белесыми ресницами и словно удивляясь веселому свадебному застолью манси, берет с рук хозяйки чарку и опрокидывает ее в рот: «Ты, хозяюшка, Оманова Наталия, не беспокойся! Раз вы согласились хоронить его по-русски, сделаем как нужно, по-христиански».

Тут только в их разговор вмешивается Сума Сёиӈ-Василь, двоюродный брат тётки Наталь-эӈк: «Чтобы они сегодня на кладбище вывезли тёс, чтобы потом над могильным земляным холмиком можно было сделать по-мансийски небольшой домик с крышей». Рыжебородый русский на голову нахлобучивает пёструю собачью

шапку-ушанку и открывает двери в сенки, но Оман Наталь окриком останавливает его: «Рума – друг Петра, подожди. На, возьми с собой берестяной туесок с продуктами и унеси работающим людям на кладбище».

Навстречу в дверях появляется Суйпавыл Максим с незнакомым мужчиной в малице, с округлым пухлым тёмным лицом. Чёрные волосы у него на голове острижены в кружок, как у тундрового ненца. Высокий, как шест, Максим при входе в дом ударяется лбом о верхний косяк двери.

Волиӈнэ, жена его, тут же сидящая за низеньким столиком, проворчала, что, мол, он вечно какой-то неловкий, то синяк себе поставит, то руку или ногу порежет. Максим стаскивает с незнакомца малицу, улыбаясь, перед всеми говорит: «Захожу в сельмаг, вижу Тимкиного бора куму Хандыбу, говорю: «Здравствуй, Няркувсь (Облезлая парка)!» А он, Йиквар, молчит; возле прилавка кого-то высматривает ... Спрашиваю его: «Кого заметил там?» Он говорит: «Женские рейтузы и мужские кальсоны». – «Кума, правда, так было?»

Лицо Хандыбы (Гындыбина) становится похожим на весеннюю переспелую клюкву. Он из-за пазухи чёрного суконного пиджака достает полосатый кусок материи, из боковых карманов – бутылку спирта, подаёт хозяйке дома. А худощавый Максим с волосами цвета осенней травы, садясь вместе с ним за стол, все еще не отстаёт от него: «Тимкасуй Йиквар, всё-таки в мирлапке ты кого высматривал? Может, красивую русскую девушку в белой шапочке, а?»

Кимкьясуец – охотник сердитым голосом отвечает: «Пӑлсайт Максим, мы – Линяющие малицы; кому нужны?»

Конюх Сосьвинской культбазы, шутник Паланзеев Максим ловко распечатывает бутылку, взбалтывая, и два раза ударяет о свою ладонь. Сургучная пробка вылетает. Наливает куму из горлышка чарку и успокаивает его: «Вот так бы сразу и сказал. А я думал, ты продавщицу хотел сватать и хотел ей купить белоснежные панталоны, а себе – кальсоны». Вокруг всеобщее оживление и смешки.

И этот печальный Поминальный дом в течение трёх дней и ночей не пустовал. Кто приходил, кто уходил на некоторое время домой по своим неотложным делам, ели, пили, рассказывали о жизни

покойного и о своих делах; загадывали загадки, чтобы развеять печальные и тяжелые мысли родственников покойника.

Как и в Медвежьих игрищах, манси считали, что умерший и пупа (святой братец) способны слышать их беседу и даже воспринимать их невысказанные мысли. Умерший мог разговаривать со знахарем «нӓйтом» (человеком, обладающим гипнозом или магнетической телепатией, умеющим «ханлаӈкве», то есть в прямом значении «прилеплять, приклеивать». Отец, вспоминая поговорку-примету: «Если на поминках долго молчат, значит, в каком-то селении у кого-то обрывается дыхание», загадывает придуманную им самим загадку:

Подо мною проходят –
Лбом целуют.
Надо мною ходят –
Ногой поглаживают.

Егор Хандыба говорит, что он вроде таких загадок у манси не слыхал, но он знает, кто так любит целоваться: это нижние и верхние дверные косяки. С ухмылкой Алексей Кугин, посматривая на Максима, говорит: «Черёмуха». У женской половины за низеньким столом сидящий горбатый сумаюртовский мужчина Василь Адин говорит: «Максим, загадок много знаешь, а про себя – нет. Посмотри на себя, что у тебя на лбу чернеется?»

Тот встает из-за стола, что-то на стенах рассматривает. Увидев на задней стене зеркало, обмотанное полотенцем, восклицает: «Ну, ёлки-палки! Неужели я себе синяк поставил?»

Сидящие тут опять тихо смеются. При покойнике нельзя смотреться в зеркало, потому что умерший может взять с собой йисхор «тень-душу» в другой Мир.

Ничего не поделаешь, в своей жизни неопытный слабоумный человек семь раз в шута превращается, а от доброго смеха люди умнее становятся: «Думай, Максим!»

Одно слово имеет два значения.

Кто это и что такое?
Летит – шея длинная,
Сядет – ноги лабазные.
Вверху – ветки игольчатые,
Внизу – корни крепкие.

Снова кто-то тревожит базовского конюха новой загадкой. Максим, сутулый в плечах, совсем обмяк и растерялся. А розовощекий рыбак Остеров Павел из юрт Сума павыл, с плешиной на макушке головы, подзадоривает его: «Ай-ай-я! Ты, кум, много мест исходил, на Урале в экспедиции бывал, русских водил искать драгоценные камни. Много у них видел, а о себе мало знаешь».

В их беседу встревает по прозвищу Быстро Разговаривающая жена Максима Волиӈнэ: «Ты, Сума Паял, не трогай его. Он больше всех врёт. Дальше города Берёзова Максим не был». Все люди смеются. Тот же курносый улыбающийся Паял подтверждает слова Волингнэ: «Твоя жена догадливее тебя. Ведь у нас птицу и сосну одним словом называют – тарыг».

Рядом с ним сидящий Гындыбин Егор в отместку за недавние злые шутки задаёт ему вопрос: «Суйпавыл Максим, теперь кто из нас больше имеет прозвищ?» Тут же он, загибая пальцы рук, начинает перечислять его прозвища: «Первое – Суйпавыл, второе – Палсайт, третье – Тарыг, четвёртое ... У меня меньше фамилий, но пока тут сидим, может, ещё добавят ... »

Максим из Суйпавыла
Рассказывает о Тильп Оман

Конечно, на вопрос Хандыбы Суйпавыл Максим мог перечислить все свои прозвища, но промолчал. Зачем лишний раз перед народом выставлять себя на посмешище?

Наталь-энгк, поправив на столе тускло горящий фитиль керосиновой лампы, подходит к Максиму и просит о том, чтобы он вновь рассказал о последних днях ее мужа.

Он обо всем вспомнил: о том, как проводили большое собрание в родных юртах Ракться и деревне Месыг, как там тревожно спал, как рассказывал ему свои страшные плохие сны, в ляпинских юртах Месыг после показа «бегающих картин» (кинокартин) поздно вечером рядом легли спать на нары.

– Рано утром я проснулся, а его уже нет. Думал, коней пошёл поить. Подхожу к розвальням, вижу: Эх, ты, Золотая баба! Мой Филипп возле своих саней стоит, как огородный столб, а над ним – крапивная верёвка торчит. Вот беда, беда! Дорогого Тильпа,

наверно, оленные богачи-пастухи и шаманы повесили! Кого позвать? Ведь вчера учитель Голошубин уехал в Ломбовож к своему коллеге Аркадию Лоскутову. Я отправился искать следы преступников. Наконец, бегу к депутату окртуземского Комитета – к Куке Месыг Улякси. Елки-палки, пришлось отрезать верёвку и положить мёртвого Тильпа на сиденье своих саней.

Так обрывает он свою повесть дрогнувшим голосом, на его белёсых ресницах появляются слёзы.

Тётка Наталь, облокачиваясь об угол гроба, у изголовья, начинает громко рыдать. Остальные женщины, как бы сговорившись, встают на колени и тоже, склонившись к гробу, начинают голосить плакательным песенным мотивом. Старшая дочка, Ульяна, подходит к матери. Обнимая её за плечи, говорит со слезами в глазах: «Мама, мамочка! Не плачь, хватит. Не надо».

В таких случаях на поминках, чтобы отвлечься от тяжких горестных мыслей, мужчины и женщины в своих разговорах переходили к шуткам-прибауткам, к увлекательным присказкам об охотничьих былях.

Мой отец, подсаживаясь к круглолицему дальнему родственнику Хандыбе, похлопывая его по плечу, спрашивает: «Йиквар, говорят, ты осенью хорошо поохотился в лесу на белок. Да ещё из Тимкиного бора домой приводил медведя. Была ли нынче белка в той стороне?»

– Не знаю, как тебя назвать по-родственному, старшим или младшим братцем? Сам знаешь, где белка, там и соболь. А где больше соболей, белка в другой лес убегает. Лучше вам я расскажу, как разбудил и добыл в лесу, в землянке, живущего медведя. Однажды под вечер шел я вдоль какого-то лесного ручейка. У крутого берега на бугре стояла набок накренившаяся высокая сосна. Вижу: ствол возле корней и нижние ветки покрылись ледяно-снежными сосульками. Но, думаю, тут лесной хозяин (медведь) даёт храпака. Конечно, одному опасно будить его. Позову-ка завтра племянничка – Саӈкитура Юванку. Он у меня смельчак! Однажды копьём хорея запорол матёрого голодного волка, шедшего по следу его оленьей упряжки.

Он объяснил, почему ему дали прозвище Саӈкитур. Весной отец на озере с таким же названием любил ловить морских уток (турпанов) петлями, сплетёнными из волос конского хвоста.

Говорю: «Юванка, ты встань с ружьём наизготовку у мелкого соснячка, только мечи (цельсь) в голову». Предупредил, что медведь очень не любит, когда человек ему спину показывает.

Кто-то среди женщин замечает: «Сват Йиквар, грех о нём так говорить. Ты лучше сразу скажи, как Юванка в штаны наклал».

– Коротко можно загадку загадать, поговорку сказать и понять. Так вот, я засунул в берлогу крест на крест две тонкие сосновые жердинки, заталкиваю третью и думаю: «Ну, теперь пощекочу тебя в пятки». Не успел подумать – медведь перевернул все мои мысли наизнанку. Вместе с жердями меня отбросило в сторону, в глубокий снег, и я перевернулся на правый бок, чтобы удобнее было стрелять. А пупа (святой братец) на половину уже высунулся из берлоги! Я нажимаю на спусковой крючок ружья. Прыжок! Второй, третий!.. Медведь исчез за низкими сосёнками, где стоял Юванка. Вот беда, беда! Вскакиваю. Отряхиваюсь от снега, перезаряжаю ружье. Смотрю: кровяная дорожка идет по лыжне Юванки.

Тут все сидящие затаили дыхание. Месыг Кука Улякси подзадоривает его с улыбкой: «Ну-ка, ну-ка! Куда подевался твой племянничек?»

– Иду дальше. Смотрю: возле старой поперечной колоды медведь уткнулся головой в снег. А Юванка раньше времени показал свой зад. Прямую лыжню проложил в Кимкьясуй. Дома спрашиваю младшую сестру, где находится от такой-то Матери Родившийся Сын, Трусливым отцом сотворённый Юванка? Она говорит, что он в бане помылся да вот ещё свои штаны постирал. Мужское ли дело стирка? После пошёл на вечеринку к девкам – играть в кольцо. Под конец я заключил: «Понятно. Он от испуга в штаны наклал».

Опять вокруг возгласы и смешки!

Адин Василий говорит: «Ну, уж, кума, брешешь! Видано ли, в мокрых брюках по морозу до дому дойти? У него «куличок» отпал бы!» Суйпавыл Максим говорит: «Это что, кума Хандыба! А со мной такой невероятный случай был, даже вы не поверите! Тогда я с экспедицией был на Урале в верховьях речки Волья. Русские собирали в свои рюкзаки какие-то драгоценные камешки. Тут весной пошла крутая потайка, мигом разлилась горная речка. Надо было дойти до моей деревни, но никак не добраться без лодки. Сделали из брёвен плот и поплыли вниз по речке Волье. Смотрим:

впереди медведь из воды что-то на берег вытаскивает. Русский начальник шёпотом сказал, чтобы мы при подъезде к нему все разом крикнули: «Эй, ухнем! Раз, два, взяли!». Оказывается, в Лесу Живущий выуживал из воды годовалого лосёнка. Берег был невысоким, а Лесной Хозяин всё ещё тащил куда-то добычу, хотя сам уже достиг берега. Тут мы по сигналу главного как все разом ухнем, и вмиг медведь вместе с лосёнком исчез за береговым бугром, словно провалился в яму».

Супруга рассказчика Волингнэ, сидящая на женской половине, снова ловит мужа на хвастливом слове: «Ох, муженёк, Длинная плётка, уж не преувеличивай! Ведь он, как всеслышаший знахарь, шаман, слышит издалека. А ты как будто близко подъехал к нему и за его лапу поздоровался».

Максим рассказывал с таким азартом, что у него на лбу выступили капельки пота. Выпучив зеленовато-серые глаза и чуть было не перекрестившись, он начинает божиться: «Милое Всевышнее Небо! Настоящая правда! Вот вам крест! Мы с плотом осторожно пристаём к берегу, у каждого в руках – пищали. Смотрим: под яром с другой стороны, мать моя золотая, медведь лежит вниз головой в воде между двумя деревьями-плывунами. И не могли понять, то ли от испуга водой захлебнулся, то ли упал замертво от разрыва сердца. Ведь сердце у каждого существа не каменное». Мой отец, Многовезучий на охоте и рыбалке, прозванный так людьми Ляпинско-Сосьвинской округи, подтверждает верность слов Максима: «Что ж, в лесу бывает всякое. В комариную пору и в пору паутов бывает такая «медвежья болезнь» – от неожиданного и резкого крика человека в Лесу Живущий (медведь) может упасть в обморок или может броситься наутек без задних ног».

Тётка Наталь подходит к знахарке Волиӈнэ и спрашивает: «Милая Окулина, солнце повернуло, наверное, к утру. Не пора ли поговорить с моим мужем? Что нужно для разговора с мужем: топор или нож?» Та скороговоркой отвечает: «Милая, поступай, как хочешь. Пусть мужики закроют крышку гроба и к ней привяжут сыромятными ремнями жердь».

Знахарка Волингнэ говорит с Войканпуӈком

Шаманка Волиӈнэ готовится к разговору с покойным Оман Тильпом. В берёзовом ковшичке зажигает чагу; три раза проносит вокруг гроба, у изголовья на пол кладёт топор, затем обеими руками берётся за шеста – пытается приподнять гроб. С мольбой в голосе приговаривает, словно говорит покойный Светловолосый.

Сыном удачливого охотника был я,
Сыном мастерицы-матери был я.
Теперь душа моя в ином Мире,
Только отец Всевышнего Духа
Возьмёт ли к себе поближе меня?
Может, он отправит в Нижний Мир
За то, что наложил руки на себя?

После этих слов Волиӈнэ, словно напрягаясь от большого усилия, пытается приподнять конец гроба, но не может оторвать его от пола. Значит, Оманов Филипп заговорил со знахаркой. Даже мы, ребятишки, тихо играющие за перегородкой, замолкаем и с удивлением смотрим на неё: «Что же она? Спящего Тильпа хочет разбудить и поставить на ноги?»

А знахарка, учащая своё дыхание и судорожно вздрагивая, словно от лихорадки, певуче заклинает:

Покровительница моей юрты – Огонь-женщина –
Просила в жертву мою лошадку – Пегашку,
Но я не исполнил ее просьбу,
За что очень был сердит Павлыӈ ōйка.
Я тоже хотел жить в Среднем Мире,
Очень жалел тебя, сердечная,
Не хотел оставить вас сиротками.
По велению Верховного Неба,
Может, попаду в рай, Залунье.

В этот момент мужчины и женщины шумно вздыхают. Шаманка Волиӈнэ вся трясется, как осенняя пожелтевшая травинка от ветра; руки, держащиеся за кончик жерди, дрожат так, словно её бьёт током. Два раза она легко приподнимает изголовье гроба; затем камнем прилипает к полу. Она не может оторваться от него. И далее она продолжает заклинать:

Но шайтаны-невидимки во сне
Хватались за мое горло,
Потащили к себе в Мир иной.
Не имею на вас злых мыслей.
Чтобы вы жили во здравии
И не трогали вас Духи болезни,
Окропите углы дома кровью бычьей.
Так велела сказать прародительница,
Рактьӣ Нāй-Э̄ква – Огненная женщина.
Тогда я уж не буду тревожиться.
Пусть мои вперёд думающие слова
Донесёт до вас та женщина,
Кто почувствует тяжесть моих мыслей.
Пусть выскажет мои слова тот мужчина,
Кто руками воспримет тяжесть моих дум.

Заклинающая женщина, отбрасывая уголки платка за спину, всем корпусом выпрямляется и обращается к тётке Наталь: «Милая соседка, как я могла, так и сделала. Может, кто-нибудь другой поговорит с ним?»

Она берёт посуду со столика с дымящейся чагой. Подходит к каждому родственнику покойного. Обжигает кончики волос у детей покойного. Наталь-энгк отвечает ей: «Дорогая Окулина, не надо больше. Не нужно больше его тревожить. Так понятно, с какими мыслями мой дорогой друг уходит в иной мир».

В другой половине дощатой перегородки старшая дочь тётки, Ульяна, укладывает детей на мягкие оленьи шкуры. Вместо одеяла на них набрасывает тёплые шубы-сахи. Я тоже ложусь к ним; слышу, как отец начинает напевать родословную песнь прадеда – Русь лāтӈыӈ ōйка:

Вторая песнь-весть

Я возмужал за семь-восемь лет,
Мог, как мужчина-охотник, на лыжи встать,
Как рыбак, на трёхперекладную калданку сесть.
Среди детей ханты, саран (зырян) и русских
Научился говорить на трёх языках.

Две зимы подряд ходил в красно-каменную школу
(школу из красного кирпича)
К святому длиннобородами попу «отче-отчиму».
Учился разговаривать с картинными книгами,
Читать и писать их узорчатыми знаками.
Но однажды он меня наказал розгами
За какого-то святого «остолопа» (апостола).
Даже не остался в стороне крестный отец.
У попа, чувал – пузатая печка была.
Как-то Курек Микитка привёз тонкие дрова.
Свят посмотрел на воз: «Что за жердинки?
Бестолков же, остяк Никитка!
Бог за такой грех не примет в рай».
А Курек: «Какой такой рай всякой?
У нас есть своя место святой,
За эти неосторожные кривые слова
Святой отец огрел его берёзовым хлыстом.
С тех пор его стали звать Халь пос[19] – «попом»,
Купец Шахов – большой начальник с дальних юрт
Собирал для великого царя дань за год.
Иногда он меня брал с собой толмачём.
Купец Длинная овечья шуба – богач из богачей
Имел много лавок и рыбацких снастей.
Мерёжу, сети, калданы для нас не жалел,
Но брал у нас, что хотел.
Я с братьями Курек добывал муксуна, осетра.
Как-то в августе, Месяце Утиного подъема,
Перед церковным праздником Ильиным днем
Повёл наш караван берестяных квайк[20]
Небольшой буксирный пароходик
На плавной песок, на светломутную Обь.
Проехали протоку, открылась бескрайняя ширь.
Кто тут очутился впервые, оглянулись с тревогой:
В день безоблачный, безветренный, ясный

[19] *Хальпос* – берёзовый знак.
[20] *Кваюк* – большая зырянская лодка с тентом.

Откуда быть шуму предгрозового ветра?
Только черная тучка разрасталась с северо-востока.
Что-то в конце плёса шипело, урчало и грохотало.
Словно черти Водяного испускали вздохи,
Изнывая от долгой июльской жары.
Мы были почти у рыбацкого стана.
Вдруг налетел Вотпыг[21] ураганной силы.
А пароходик шлепал на одном месте,
Словно за его корму зацепились сторукие черти,
И потащило караван к бурлящей стонущей заводи.
Оторвалась от звена одна из калданок.
Исполняя ритмичный танец для Духа Водяного,
Ударяясь о гребни пенистых волн,
Она удалялась к глубокой крутящейся воронке,
Начав медленно погружаться в пучину.
А нас качало, болтало, бросало волнами.
Кричит капитан в рупор: «Рубите канат!»
Но никто не шелохнулся в носовой части лодки,
Помня заповедь предков: «Не ездить по святому месту».
Сквозь визг разыгравшегося ветра, шипящего омута
Вновь доносится голос: «Савелька, руби швартовку!
Сами по течению держитесь к берегу.
Тут я подумал. «Вот так штука!
Витхон (Водяной) сильнее парохода!
Не сидеть же сложа руки
И тонуть на середине Оби!»

Глубоко верующая в потустороннюю жизнь Волинӈэ, словно воочию видя страшную кипящую заводь, удивлённо восклицает: «Куда же катерок заехал? Милый Сотам Мишенька! Ведь Водяной затянет караван лодок в своё водное Царство, как это было в сказке с семи братьями-гребцам на одной лодке».

Тут отец прерывает свой чудный бархатистый голос, поднимает тост и предлагает выпить за усопшего Светловолосого Тильпа и Духа Междуречья Сосьвы: «Может, он не отправит его вниз по

[21] *Вотпыг* – Сын ветра.

реке Оби в город Хоманёл[22], а посадит его Дух на спину перелётной птицы Черняди и отправит к Отцу Всевышнего Неба, в Залунье, где Вечный Свет и тепло».

И вот почему весной, когда эти птицы прилетают, манси в мае месяце при поминовении покойных на кладбище берут с собой морскую или озёрную утку, возле очага ощипывают перья и пух, строят односкатный шалашик из прутиков-хворостин. На него кладут перья и пух, после чего поджигают, а тушку варят, как бы принося её в жертву.

Хорошо знала эту вещую песнь тётка Наталь, не раз пересказывала на вечеринках своим родственникам и детям. С повеселевшим лицом она спрашивает Хандыбу: «Ты, братец Йиквар, слыхал о моем дедушке – Савелии Сотам? Ведь он вырос сироткой на Обской стороне у русского купца. Крёстным отцом был остяк – ханты Куриков Никита. От него много сыновей и дочерей родилось ...»

Тот отвечает ей, что он много песен, сказок и легенд от обских, кондинских манси слыхал, а о своем многооленном овырьинском родственнике просто нехорошо было бы не знать. Слышно, как отец с просьбой в голосе обращается к Наталь-энгк, чтобы она продолжила этот сказ. Она тут же начинает, словно по писаному, причитать:

Я проскочил через головную лодку
И отрубил топором льняную верёвку.
Стар и млад взялись за вёсла и гребли.
Я повёл караван к кипящей стремнине,
Бегущей вразнобой к береговой полосе затишья.
Только возле яра мы свободнее вздохнули.
Тут воскликнул Тутлеймский манси, Петр:
«Ну, теперь успевай рулить, Савелька!
Сам Виткуль (Водяной чёрт) против течения
Повезёт к шайтанам, в Ура – святилище».
Русские пристали чуть выше речки Карсунта.
Видимо, тоже крестились, вспоминая своего Христоса.
А солнце – его Дух-тень в Обской воде улыбалось,

[22] *Хоманёл* – город в Нижнем Мире, висячий вниз головой на мысу реки.

Словно над нашей людской слабостью забавлялось.
У святилища – чугунные котелки предков.
На нас смотрел Всевидящий Мир суснэ хум.
Для него развели огненный очаг золотой.
Над ним повесили котелок с водой.
Все в сторону идола склонили головы:
«О, милый Ӑяс-Тӧрум (Дух верховья Оби)!
Ты помог доехать нам в целости,
Тут промолвил Тутлеймский Петр:
«Для тебя всё есть: Сосьвинская тугуна,
Даже русская наливайко-винка (наливка), –
Но нет с собой никакой живности.
Вот если бы пеструшку – бычка!
Разве такой нет! У меня жирная курица,
Сиськурек-многонесушка, русская птица!» –
«Мне не впервой», – вмешался Курек Микитка.
И он вспомнил, как у одного рума в Берёзово
Поменял беличьи шкурки на петуха и курицу.
Как-то он ловил рыбу далеко, бывало,
От своего хозяйственного лабаза и стойки для скота,
Как-то сельдь и сырок совсем перестали ловиться.
Нечем было угощать Духа Водяного.
Принёс он в жертву на Шайтанском мысе,
На общем мансийском жертвенном поле,
Красноголового петушка-гребешка,
Со всеми атрибутами священнодействуя.
И Дух реки Сосьвы, словно услышав его просьбу,
Стал посылать рыбу в невод целыми косяками.
Всё тут разложено: дымящаяся курятина,
Ломтики ржаного хлеба, пряники, юкола.
Налиты вином берёзовые ковшички.
Цельные руки! Крепкие ноги!
О, Святой Отыр Малой Оби!
Направь рыбу в наши калданы!
А Витхон всё плескался рядом,
Словно виляя огромным хвостом,

Захлёбываясь замутнённой, икряной водой,
Словно выплёскивая косяки рыб,
Радостно играя на зеркальной глади реки.
Всем нам казалось, что Виткуль успокоился,
Утолив голод запахом диковинной пищи ...
Из-за густой стены верб и тальника
Был слышен равномерный шум воды.
Исполнив свой обет перед Духами,
Мы поторопились ставить берестяные чумы к стану,
Готовить рыбацкие снасти к вечернему плаву.

III глава
В русском поселке Сосьвинская культбаза

Уже в 41-м году я учился в школе-интернате Сосьвинской культбазы. После домашних занятий вечером я часто прибегал в дом тётки Наталь Оман поиграть с ровесниками, с её детьми. Забежав в дом, увидел, что за столом ужинала вся большая семья тётки, но не было четырёх мужчин, как это бывало раньше: отца Филиппа похоронили зимой, а троих сыновей – Митю, Шуру и Костю – летом забрали воевать с немцами-фашистами. Тётка Наталь, вспоминая их, говорила со злостью: «Смертонос, черный Гитлер! Ишь, мало ему места, чужую землю захотел. Ведь он натворит на белом свете много злых дел!» А другой сумаюртовский старый рыбак Адин Василий, после похорон своего раненого сына, как-то во время концерта на клубной сцене увидел карикатурный портрет Гитлера. Танцуя по-манси, запел такую песню:

Сын Духа болезни – холера, зараза!
Тайс-тайс! (ешь-ешь), чёрный Гитлер-смертонос!
Ишь, захотел сожрать наших сыновей.
Хоть я мужик горбатенький, но удалой.
Вот, на-ка, возьми и выкуси!
Возьму, как это гнилое яйцо,
Раздавлю своими крепкими руками.

«Ну-ка, младший братик из Рахтыньи, иди, иди к столу. Поди, соскучился по милой рыбе. Попей с нами чай с юколой». За рукав тётка потянула меня к столу и положила возле меня картошку

в мундире с куском солёного сырка. Тётка, видя мою брезгливость к картошке, громко смеётся: «Эх, браток, это самая сытная и вкусная огородная пища! Русские, как мы юколу, её считают вторым хлебом».

Позже многие семьи спасались от недоедания этим вторым хлебом, хотя у нас в посёлке не было перебоя на выдачу хлеба по карточкам и маркам. Их получали колхозники, служащие, рыбаки-охотники.

Как и моя мама Менгквьянэ (женщина из реки Великана), две тётки – Оманова Наталья и Качанова Аннэ – никогда дома не сидели без дела: то они острым скребком скребли оленью шкуру и камусы, то их обрабатывали, то шили летнюю и зимнюю обувь: кисы, нюрики, рубашки и платья для детей. Чтобы отвлечь своих детей от озорных и громких игр, тётка рассказывала что-то смешное и страшное о зверушках, о Бабе-яге.

За окнами быстро наступает осенний мрак. Слышно, как на берегу от резкого порыва ветра скрипят и размахивают, как журавлиными крыльями, игольчатые ветки старого кедра, стоящего возле дома. Вдруг из-за печной перегородки выскакивает кот и начинает царапать половые доски. Тётка, заметив это, говорит дочери Уле: «Смотри-ка, наш кот кому-то делает дорогу. Кто-то к нам в гости приедет. Поставь-ка самовар». Рассаживает своих детей по деревянным кроватям, берёт со штыря берестяную маску, нахлобучивает на лицо, постукивая посохом, начинает вкруговую носиться по полу: «Хаш-хаш! Кыш-кыш! На-ка, где ты, внучек-баловник? В каком месте на нарах спишь? Справа или слева? Ах, вот посерёдке. Хаш-хаш! Кыш-кыш! Давай, поиграем в лосёнка-мышонка». И тут она сзади себя опускает лоскуток шкурки, привязанный ниткой. За лоскутком вслед бросается чёрный кот ...

В это время в сенках радостно залаяли кутьки (щенята). С улицы заходит моя мама Менгквьянэ и, увидев берестяную маску, от удивления застывает у порога. Тётка Наталь подходит к нам, разводя руками в разные стороны, несколько раз повторяет: «Хаш-хаш! Кыш-кыш! Фу-фу! Тьфу-тьфу! Кого несёт нечистая сила? Это ты, ночью детей ворующая Баба-яга? Уходи невидимка – Злой Дух! Тут все ребятишки спокойно сидят». Она снимает маску и делает про-

тяжный выдох, приговаривая: «Ведь я добрая Баба-яга и весёлая!». Затем, поворачиваясь к дверям, здоровается со снохой, с моей мамой: «Феша, что ты там стоишь, как идол? Проходи, проходи в дом, шубу сними. Не могла без ничего прийти? Ребятишки мигом всё принесут из лодки». Тогда только мама начинает развязывать хлястики у своей сахи-шубы и ворчливо говорит: «Ись-ись! (Грех – грешно!) Золотце-матушка! Берестяная маска – женское ли дело?! А почему вы без лампы?» – «Да вот ждем, когда заработают «огненные сани» и включат электросвет. Видишь, под потолком висят стеклянные пузырьки-лампочки. Вот-вот загорятся. Ну-ка, детки, мигом к лодке. Принесите все вещи бабы Феклы. А ты, братик Микол, уснул что ли? Ведь твоя мама приехала».

И тогда только я радостно бросился к мамке. Услышав об огненных санях, она удивлённо поглядывает то на тётку, то на лампочки, думая про себя: «Причём тут паровоз? Вроде тут нет никакой железной дороги». Она не знала, что под яром оврага и берега построена электростанция с паровозным двигателем. Уж мы хотели пойти к берегу, как вдруг свежевыбеленные белой известью стены озаряются ярким электросветом. Подпрыгивая возле дверей, мы весело кричали: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». А тётка Наталь и мама, как будто сговорившись, кладут поклоны головами в сторону лампочки, приговаривая: «Золотой русский божественный свет-огонь! Золотая наша мать – Северное Сияние!»

Возле дверей, увидев корзину со свежими серебристыми сырками и пыжьянами, у нас потекли слюни. Почувствовали, что скоро поедим вкусный, свежий нярхул – «сырую рыбу». И мы с радостью побежали к берегу. В лодчонке у мамы чего только не было в берестяных кузовках и корзинах: свежая чёрная смородина, сушёная черёмуха, солёная рыба, разная юкола ...

К нашему приходу домой на гладких кедровых досочках лежали очищенные от чешуи рыбки. К нам заходят соседка тётки Вольянэ (женщина из реки Волья) и Сёпрахт Сандра (Александр из речки Тетёрка). Недавно он приехал из д. Посолдино в культбазу. Все они здороваются двукратными поцелуями в щёки. Матушка, увидя свата, родственника моего отца, Кислобаева Сандра, сразу к глазам вниз придёргивает свой платок.

Тётка Наталь приглашает гостей к столу, чтобы они поели рахтыньинскую сырую рыбу – свежего сырка. Говорит старшей дочери, чтобы для малышей поставила другой низенький столик и накормила их лакомкой-рыбкой.

– Сношенька Фёкла, ты угощай гостей нярхулом и горячим чаем, а я уложу своего малышку в качалку, усыплю, а вас и старших деток позабавлю вещей песней о прадеде – дедушке Сотаме (Шумно играющем). От этого слова Сотам происходит Садомин.

О мужчине, говорящем по-русски

(Третья песнь-весть)

Сын песни-вести, я долго ли жил на Обской стороне.
Сын реки Сосьвы, коротко ли рос в посёлке Берёзове,
Но всё моё сердце плакало по оленной Родине.
Наверно, выросла наречённая моя невеста.
За здоровье её в церковь ходил молиться.
Когда-то тут стояла избушка Меншикова.
Все русские его считали своим прапрадедом.
Проходя мимо, крестились пред его домом.
Курек Микитка, любитель чарки выпивать,
Водил меня купеческие баржи выгружать.
Там за хорошую работу платили спиртом.
Раз так напились, смотрим,
Чуть-чуть позади берёзовый мысок видать.
Так поневоле, как грузчики, в Тобольске оказались,
На Иртыше в божьем русском городе.
На горе-то чум белокаменный чудной!
А божий дом? С золотым куполом-копьём!
Внутри на нас смотрели золотые идолы.
Откуда-то сверху пели песни небесные ангелы.
Даже от удивления мы креститься позабыли.
Однажды, в месяц хода на нерест рыб (август),
Снарядив двухъярусную зырянскую лодку-квайк,
Закупив наличными товаров, продуктов и в долг,
Решили поехать в свой край соболиный с братьями Курек.

Купец Длинная овечья шуба – большой начальник –
Просил его, руму (друга), не забывать.
Велел на будущее лето к нему приехать,
Чтобы для него Обскую рыбу ловить.
Добирались до устья Сыгвы 6 дней и ночей.
То парусом в ветреный день, то
В затишье – вёслами, гребями и бечевой.
Духа середины Сосьвы угостили рыбой Обской.
Чтобы запастись юколой к зиме,
Надолго остановились в устье Сыгвы.
Затем я построил дом в Овырье,
В родовых юртах покойной мамы,
А братья Курек, Микиш пустились в дальний путь
К верховью Сосьвы зверя промышлять,
Где навсегда в Няксимволе остались.
Вот наступила осень ранняя, малоснежная.
В такую пору добрая собака кормит хозяина.
Без камусных лыж, что летом без обласки,
Тут жил старший дядя по матери –
Мастер подельшик вёсел, нарт и утвари –
Писинг ойка (мужчина-фокусник),
Хисьрапая (про прозвищу Крутой набалдашник весла)
«А, это ты, по-русски говорящий внучек!
Ребёнком уехал, а свой язык не забыл?
Молодец! По-ихнему новый дом построил.
На тебе одежда наполовину русская.
Вот послушай, о чем шепчут мне Духи предков.
Тэнг-тонг! – На сангквылтапе извлекает звуки
И начинает сказывать былину об Эква-пыгрисе,
О моих родных и обо мне, о сиротке Сотаме.
Тут-то в его сказе Хандыбины шутки
Превращались в хитроумные забавы.
Поёт Хисьрапая, играет на сангквылтапе,
На стуле оживают куклы в дикой пляске.
Предо мной промелькнуло всё моё детство:
Шумные игры с дочуркой Хандыбы

В оленьи упряжки и ловля их тынзяном,
«Внучек, чум без женщины – сиротский дом.
Без её теплой руки – холодный чум.
Знаю, ты любишь её, дочь Марью.
Только она тебе дальняя родственница.
Со сватовством ничего не получится.
Украсть только её можно.
Раньше к ней приезжали сваты-зыряне.
Надо торопить это большое дело скорее!»

Тётка Наталь, проговорив эти слова, на несколько минут замолкает и перестаёт качать качалку. Видно, ребёнок уснул. Подходит она к кухонному столу, берёт рыбку и начинает её пластать острым ножом. Спрашивает бородатого мужчину: «Братец Сандра, ты в магазине по-русски не умеешь просить хлеба? Привези-ка сюда в культбазу свой домик, жену и дочку. Я её устрою работать в пекарню. А дочку отдашь учиться в интернат». – «Хи-хи! Ха-ха! – смеется мохнатоголовый Кислобаев Сандра. – Что я, ребёнок? Кто не слышал вещую песнь о нашем прадеде Сотаме, первым говорившем по-русски на реке Сосьве».

IV глава
Летние юрты – наша кормилица, живорыбица и житница!

Прошло много лет после Великой Отечественной войны, после смерти Войканпуӈка, Тильпа Омана, его старших трёх сыновей, погибших на фронте, и смерти моего отца, Сотама. Но моя мама Менквъянэ, две тётки: Оман Наталь, Качан Аннэ – три пожилые семидесятилетние женщины, и мы – дети, никогда не забывали их.

Летом они в самую рыбную и ягодную пору приезжали в свою родную деревню Рахтынья, расположенную на левобережье светловодной судоходной уральской реки Сакв (Ляпин). С раннего утра до позднего вечера в конце июля косили, сгребали сено; неводками в старице ловили рыбу; к зиме готовили солонину и юколу из плотвы и белорыбицы. Всей семьёй собирали ягоды: морошку, голубику, черёмуху и смородину. После удачного лова рыбы и обильного урожая дикоросов не забывали помянуть своих предков и недавно

усопших родственников. На лодочках-калданках ехали длинным речным плёсом в зимние юрты, где находилась печальная площадь (кладбище). Там разводили кострище; в двух чугунных котлах варили мясо и рыбу. Затем, раскрыв катас (ручное отверстие могилки – домика-сруба), на низеньком столике расставляли чашки со всякой снедью и горячей пищей для угощения духов умерших. Прежде чем приступить к трапезе, ложились перед могилками и начинали плакать, исполняя грустные молитвенные песни:

Я тебе поставлю берестяную чашу, едой наполненную,
Я тебе берестяную люльку поставлю с пищей богатою,
Поставлю одну чашу с желудочным соком,
Поставлю одну полную чашу с медовым соком.
Прими всё это вместо вкусной жертвы,
Прими всё это вместо большой жертвы.
Для меня не было бы места для грозовых туч,
Для моих ног не было бы глубоких ям.
Не всплыла бы заразная болезнь,
Не появилась бы священная болезнь!
У нас нет дочери, чтобы отдать болезни;
У нас нет сына, чтобы отдать чёрту.

Часто я задумывался, почему поколение моей матушки, не знавшее в молодости больниц и аптечных лекарств, жило в среднем 70-80 лет. Как будто на самом деле добрые Духи-невидимки предков присутствовали рядом: в доме, в лесу, в пути – оберегали от болезней и приносили удачу на рыбалке и в охоте.

Их угощали горячей пищей, как бы давали время ей стыть. В чём тут дело? Видимо, действовал закон выживания и естественного отбора в природе. Оставались в живых и вырастали дети с сильным организмом, способные выработать иммунитет против заразных болезней. Моя баба Парыска Оман и мать знахаря Сувынг Эква (женщина с посохом) прожили более века. И я помню людей-долгожителей из других деревень и фамильных родов. Но без врачебной помощи во многих семьях на четверть, даже наполовину умирали дети при рождении; как у моей мамы, из восьмерых в живых осталось четверо.

В 30-х годах пришла великая помощь от русских, когда в Междуречье реки Северной Сосьвы построили амбулаторию с родильным

отделением. В первые годы папа и мама, бабушки и дедушки боялись русского лекаря. Бывало, силком лечили такие распространённые болезни, как сыпной тиф, корь, трахома, туберкулёз и делали прививки против оспы. Но и тогда я мало знал людей, которые бы часто жаловались на желудочно-кишечные заболевания.

Как же так? Это люди, с раннего детства, употреблявшие в пищу свежемороженную рыбу, оленье мясо и «патанку» – печёнку. Ведь тогда не знали никаких южных витаминозных фруктов и овощей, кроме таёжно-болотных ягод, лугового дикого лука, белоголовника и берёзовой чаги. Тут, бесспорно, большое лечебное общеукрепляющее значение для их организма имело постоянное употребление природных белков, витаминов, минералов, фосфора, которые в изобилии находились в этих естественных продуктах.

Иногда, удивляясь их жизнерадостности и неугомонности в работе, я спрашивал маму и тёток: «Вы что, заговорённые, разве никогда не болели? В лесу и дома у вас всегда дела ... Когда отдохнёте от работы?» Они одинаково отвечали мне: «Сынок, мы дружим с Хульотыром (Духом болезней). Он не любит, когда днём человек лежит без дела или с каким-нибудь недомоганием. Вечером и ночью другое дело. Его изнутри выгоняем камнем-грелкой, горячей настойкой – чаем из сушёных листьев шиповника, смородины и дикой конопли, берёзовой чаги ...».

Позднее, вспоминая эти слова, я приходил к мысли, что, живя в гармонии и согласии с ими же одушевляемым Ма-Вит (Земля-вода), т.е. природой, и в то же время, закаляя свой организм и характер, борясь с невзгодами, выгоняли свои недуги вечными движениями в работе.

Почему-то человек в сыром виде пищи съедает больше, чем в варёном или жареном.

Во время войны не хватало хлеба, поэтому многие манси со здоровыми сердцем и желудком съедали нярхул (сырую талую белорыбицу), по два-три крупных свежетрепещущихся сырка или среднего серебристо-чешуйчатого жирного муксуна. А нежнейшее вкуснейшее мороженое мясо оленя?! Удовлетворение получишь только тогда, когда по горло наешься. Разве оно сравнимо со свиным малосолым салом или корейкой? Ведь северный олень питается чистейшим мшанником ели, богатым витаминами белоснежным

калорийным ягелем тайги и тундры, содержащие минералы и целебные свойства. Мы ещё с молочными зубами, на вербово-трухлявой подстилке, сидящие в обручно-берестяной люльке, привыкали к такой еде. И мама часто любила поговаривать: «Едва вам исполнился год, уже вставали на ноги и начинали бегать за мамой, благодаря жвачке, соске из жирной рахтыньинской рыбы и оленьих ножно-костных мозгов».

Вот летние юрты Рахтынья – наша рыбная житница, кормилица с семикилометровой широкой старицей на той стороне реки, с пойменными соровыми, луговыми речушками. Чуть выше ста метров от деревни, на левобережье реки, находилось устье таёжно-соровой речушки. Само время года подсказывало моим предкам, какие дома строить зимой, весной и летом. Летом тепло, жара, москиты и мухи, поэтому летние бревенчатые дома они строили беспотолочными и без мха, с очагом посередине пола, а на крыше прорезали дырочку-дымоход. С двух сторон очага, вдоль дома, между двумя брёвнами параллельно друг над другом клали по три перила (слеги), на которых на тальниковых тонких палочках подвешивалась юкола для вяления и копчения. В часто чадящее и прокопчённое помещение почти не залетали насекомые.

В самую пору поспевания пойменной ягоды, под вечер, к тётке Оман Наталь на моторной печорской лодке подъехала старшая дочь Ульяна с детьми и мужем «Москвой-Ильёй»[23]. После окончания культпросветшколы Ульяна работала в культбазе библиотекарем клуба. Восемь лет тому назад она познакомилась с русоволосым парнем, радистом-геодезистом Тюменской геологоразведочной экспедиции. Вскоре они поженились.

Её приезду радовались подруги и ровесники детства; гурьбой к ней забегали в большой летний дом, чтобы поделиться последними межюртовскими вестями. Она так же, как её мать Наталь, неугомонная, горазда на выдумки, любила различного рода представления «тулыглапыт», тут же превращалась в злую, ворчливую, неряшливую сказочную Кирпнёлупэкву (в женщину, у которой в носу засыхали сопли); или являлась в образе доброй Лесной Феи – Миснэ. При этом не своим (перевоплощённым) голосом исполняла

[23] *«Москва-Илья»* – так его прозывали потому, что имел фамилию Москвин и лодочный мотор с таким же названием.

фольклорную песню, плавно кружась в танце, втягивая всех исподволь в общий хор. Между тем на глиняном очаге, расположенном в центре дома между двумя нарами, весело потрескивали ярко горящие ёлочные дрова. Тут же рядом с большим очагом тётка Наталь растапливала в чугунном котелке на углях ас вой (жир обской рыбы) из мелко нарезанных кусочков кишок, спинок и брюшин сырка и нельмы. Время от времени берёзовой деревянной поварёшкой помешивала золотистый рыбий жир, а в левой руке держала олений камус (шкуру), туда-сюда похаживая по дому, беспрерывно мяла её сильными руками.

Вдруг разыгравшаяся Ульяна подошла к маме и детским голоском говорит: «Мамочка, позабавь-ка своих деток, внуков старинной вещей песенкой». В этот миг Наталь-энгк, увидя возле дверей только что забежавшего с улицы восьмилетнего внука Сашу, продолжателя Духа её старшего сына Омана Сандры, пропавшего без вести на большой войне подзывает к себе внука и говорит дочери: «Уленька, слава Нуми-Торуму (Всевышнему Небу)! Ты нам подарила светловолосого Сашеньку. А ведь ваш прадедушка неплохо говорил по-русски и служил приказчиком у русского купца. Так вот спою о нём последнюю его песню:

Четвертая песнь-весть

Долго не мог смириться своенравный Хандыба с происшедшим,
Он знал по следу нарт, откуда приезжали и кто его обдурил.
Застав сына пьяным, крепко обхаживал тынзяном.
Даже по мягкому месту досталось снохам.
Но не прошла вся его злость на этом.
В родовые юрты прогнал старшего;
Отозвал в чум среднего зятя Хисрапая,
Чтоб тот смотрел за оленями каждодневно.
Для каслания на Урал многоголового стада
Он мог выбрать из многих родственников любого.
Многое знал от средней дочери,
Как живет младшенькая – в согласии, в достатке.
Прошли три долгих зимних месяца –
Время добычи черно-белого зверя.

Вдруг из Сортыньи приехал нежданно-негаданно
Купец Кильцев, появившийся в округе недавно,
По прямому зимнику для сбора дани – ясака.
Преуспевающий купец Междуречья Сосьвы
За короткий срок построил хоромы:
Шестиугольную церковь и лавку с пекарней.
С ним был из Хальуса (Берёзова) казак с саблей.
Этот загребал шкурки по-новому, по-хитрому.
Если прежде для Белого царя Сандры (Александра)
С каждого одноюртовца брали дань поштучно,
То теперь со всех по весу – пуд мягкого золота.
У кого не было, то брат должен был внести за брата,
Сын – за отца, кум – за свата, родич – за родича.
Вот «колера»[24]! Поставил меня толмачём,
Хоть и сам неплохо изъяснялся по-манси.
А в мирколе[25] всё росла куча пушнины,
И в тот же миг, как сугроб в оттепель, все таяла,
Исчезая в связках широченных кулях.
На ручных весах взвешивал, говоря:
«Все для его Светлости Николая!»
Мы-то слыхали от ссыльных из Ивделя,
Что он свой работный люд в Стольном городе,
Как диких оленей, расстреливал на улице.
Кого только тут не было: Анямы, Алхаты,
Ватисупы, Таратови из речки Вольи,
Чукопелики, Остеровы из Проточных юрт.
Старейшина Хандыба и саран – люди оленные
На широкую лавку бросали нёплюи чёрно-белые,
Оленьи прочные камусы и пешки тонко-нежные.
По улыбке и разговору с приезжими людьми
Видно, что торговец доволен дарами царю-батюшке.
Потом раскрыл обозные лари с продуктами.
Кто больше сдал пушнины, тому пшёнки-муки;
По две головки сахару и четвертину водки.

[24] *Колера* – холера.
[25] *Миркол* – заезжий народный дом, который предназначался для собраний, разных других мероприятий.

А кто менее, тому отмеряли по два пуда ржи;
По головке сахару и бутыль огненной воды.
Затем купец подал какую-то бумажку уряднику.
Тот прочитал её перед народом:
«За утайку золота в своих святых ура[26]
Хандыбу наказать десятью розгами горячими.
За несдачу ясака – налога его Величеству –
Няркувся, Пасталапа наказать десятью холодными».
Как бы ни было стыдно перед сородичами,
Я всё должен был перевести дословно.
Но сразу мне стало ясно и понятно, что
Кто-то из бывших сватов наговорил на старца.
Тут вмиг соорудили из скамеек лобное место.
Около них похаживал, как боярин, урядник-казак.
«Какой позор! Хорошо, что тут нет ни одной женщины», –
Подумал про себя злой Хандыба.
А на моложавом лице Кильцева – ухмылка:
«Ты, рума, держишь слитки золотые?
Не выделишь долю для казны царской?
Я отменил бы для тебя столь суровое наказание.
Может, за них отдашь сотенку оленей?»
Хандыба, перешагнув через семидесятилетие,
Оленное своё стадо не разбазаривал
И перед сельчанами жадным себя не считал.
Не жалел хоптырки'[27] принести в жертву,
Даже не отказывал дальнему родичу,
Если он нужен был для семейной свадьбы.
А это отдать задаром, хитроглазому?
«Нет! Пусть попьёт мою старческую кровь. –
Громко заклинал, скинув богатую малицу:
– Ятил Сорни сянь! Милая Золотая мать,
Родившая семерых сыновей-богатырей,
Затем превратившаяся в Священного идола,
Праправнука нангк (лиственницы), пожалей!

[26] *Ура* – священный лабаз-сторожка.
[27] *Хоптырка* – важенка бесплодная.

Хотя ты отлита из чистого золота,
Ни один из твоих сыновей ханты, манси
Так на драгоценный металл не позарился.
Ты в землю ушла в своём священном урочище,
А твои сыновья превратились в семь нангк-идолов,
Так долговечно охраняя тебя от чужаков.
И вот почему твои праправнуки,
Проезжая мимо твоих святых мест,
Одаривали тебя то медяшкой, то серебряником.
Чтоб ты вновь, Калтась-эква (Золотая баба),
Заблестела бы лучезарным светом ясного дня!
Как ты ушла от нас, Людей сердца Земли, –
Ни у кого золотых украшений, монет не видели,
Кроме золотого огня домашнего очага
И вечно на небе светящего солнца».
После его слов воцарилась напряжённая тишина.
Он лёг на скамейку, готовый к испытанию.
От его слов и тишины купцу стало неловко.
Но он, воспитанный в семье промышленника,
Видевший в детстве не такие порки, дал знак казаку.
Он вспомнил слова отца: «Для острастки инородца
Небольшая показательная жестокость требуется».
Тут урядник розгой второй раз размахивается ...
Купцу я подсовываю крест Золотой с цепочкой
И говорю ему просительно и умоляюще:
«Да он с ума сошедший старец, как дитя несмышлёное!
Не пожалеет десяток оленей для вашего обоза».
Кильцев подошел к Хандыбе, прошептал в ухо:
«Зятю, говорящему по-русски, скажи спасибо».
Самолично он поднял его, подал ему малицу.
«А сейчас, рума, всех оленных приглашаю в гости.
Как им, этим двоим, Няргусю, Пасталапу, отменяю наказание,
Но чтобы накопили шкурки к следующему году.
Кому винка не хватит, приходи ночью.
Несите пушнину, всё, что у вас есть.
Поменяю на товары, куплю за деньги» –

Так закончил новоявленный купец свою речь.
Уж было я собрался в юрты Овырья,
Как пришёл с бутылем вина тесть:
«Не обижайся на старейшину, Хандыба.
Скажи дочери, пусть приезжает к отцу
И берёт двести голов – своё приданое.
Можете отдать Хисьрапаю на содержание.
На каждом поставьте родовую тамгу –
Свой фамильный знак – утиную лапку».
Сын вещей песни долго ли прожил с Марьей.
Дочь песенной вести коротко ли жила со мной.
Произвела на свет семь сыновей и дочерей.
Из камуса и сукна она шить мастерица
И рыбу готовить к зиме искусница.
Всех вас поставила на крепкие ноги.
В руки крепких мужей попали дочери.
В верховьях и низовьях реки Сосьвы
Теперь живут ваши родственники.
Добывая зимой таёжного пушного зверя,
Мало ли с ней накопили богатства,
Летом Тагт-Ас[28] белорыбицу вылавливали.
Но однажды всё то, что собирали всю жизнь,
Пока вылавливали рыбу на Большой Оби,
Все забрал себе золотой огонь.
Или это случилось по его желанию,
Или по злому умыслу какого-то завистника.
Всё потерял в один миг, как есть, Хандыба.
Родичи при его жизни раскромсали стадо.
Только теперь старший сын с Хисьрапаем
Каслались на Уральские горы вместе.
Ваша матушка ничего не жалела,
Никого из своих детей не обделила.
О, святая родительница рода Утки,
Прилетающая из жаркой «Мортым Маа»,
Где солнце над головой, в зените.

[28] *Тагт-Ас* – Сосьва и Обь.

Теперь ты, милая, на той стороне Неба.
Скорее попасть бы к тебе в Залунье!
После того случая с Хандыбой я
Отказался быть толмачём для ясачных,
Чтобы среди людей не слыть злыднем.
Но вот что запомните, сыновья, детки, внуки!
Так исстари сложились наши отношения с русскими,
Что слово «рума, означает «русский, друг, товарищ».
Или встретился человек другой национальности,
Если он словоохотливый, добрый и приветливый,
То все равно обращаются к нему: «Пася, рума!
Здравствуй, незнакомец, – друг русский!»

Динисламова Светлана Силиверстовна

Я ХОТЕЛА Б РОДИТЬСЯ МАЛЕНЬКОЙ ПТИЧКОЙ

Я хотела б родиться маленькой птицей:
Мне без разницы кем – воробьём иль синицей,
Моим домом была бы тайга вековая,
А семьёю моей – крылатая стая.

И тогда б не пришлось о людей мне скрываться,
От ружей их с болью, огнём разрываться,
Я была бы не нужной для их интереса,
Я – пичужка, а рядом – лесная завеса.

Я хотела б родиться маленькой рыбкой:
Мне без разницы кем – чебаком,
иль плотвичкой,
Моим домом бы было водное царство,
И один только враг – щучье пиратство.

Я б резвилась со стаей в стихии своей,
Не страшась людских неводов и сетей,
Я не белая рыба, я всего лишь малёк,
И путь мой в водной пучине далёк.

Я хотела б родиться неценным зверьком:
Мне без разницы кем: мышкой ль хорьком,
Моим домом была бы земля родная,
Я жила бы в норе-лабиринте без края.

Опасалась бы только лисиц я, да сов,
Нет дверей, нет людей, и не нужных засов,
Запах смерти и зла за версту обхожу,
Жизнь прекрасна, от страха я не дрожу.

Я хотела родиться, но это лишь стих,
Воображений моих не последний штрих.
1998

ТАТЬЯНА РОМАНОВНА

О маме своей любимой речь доведу до конца,
Начав её всё же словами давнишней песни отца:
«Милой Татьяне Романовне, которую встретил я,
Милой Татьяне Романовне, где же земля твоя?»

Что ж, родила её мама там, где стоит Игрим,
В деревне Межи папа вырастил
на зависть соседям своим,
Девушкой стройной ходила с рассвета и дотемна,
Но старшей родившись, как юноша,
трудилась весь день она.

Немало познала тягот она за прошедшую жизнь,
И свято завет соблюдала простой –
никогда не сердись,
Её любя, беспокойно наши сердца стучат,
Пускай же её согреют слова не забывших чад:

«Мамочка, в сердце тает лёд, если ты близка,
Милая, рядом с тобою текут, словно Сосьва-река,
Самые нужные мысли, а бедам даётся бой,
Важные разговоры приходят вместе с тобой».

Ласковые ладони всё время гладят меня,
Глаза твои улыбаются, доброй надеждой маня:
«Дочерей-сыновей повырастила,
шумит дорогой мой сад,
Слава Богу, что вынянчила милых гусят-утят».

Нас ты учила не делать никогда нехороших дел,
Учила ты пониманию, что честность – почётный удел,
Что надо любить природу, Вселенную восхвалять,
Малых и старых жалея, жизнь во всём уважать.

Много ты нам говорила нужных хороших слов,
Многим для нас пожертвовала,
не счесть никогда даров.
Только с тобой мы дальше жить хотим, как отец,
Чтоб все твои лучшие песни выучить, наконец.

Когда на санях едешь, песни твои слышны,
На лодке плывёшь – и снова голос сильней волны.
Не раз слова благодарности твой наполняли дом,
Ещё нежней и весомей слова для тебя найдём.

«Милая Татьяна Романовна, где ты взялась за гуж,
Милую Татьяну Романовну где-то встретил муж,
Мастеровой мужчина, что пел ей песни весны,
Знал он, что милой маме песни были нужны».

* * *

Ночь за окном, за окном темнота,
В сердце моём пустота, пустота,
Как же утра мне дождаться скорей,
Солнце, всходи, мою душу согрей!

Ранним лучом ты ко мне прикоснись, Ласково мне улыбнись, улыбнись,
С нежностью руки к тебе я тяну,
Солнце, всходи, в темноте я тону!

Первым лучом ты меня озари,
Счастье ты мне подари, подари,
Светом осыпь, дай щепотку тепла,
Солнце, всходи, пусть расступится мгла!

ВСЕ ЛЬЮТ И ЛЬЮТ ОСЕННИЕ ДОЖДИ

Всё льют и льют осенние дожди,
Осины листья шелестом кричали:
– Ах, дождь не лей, не лей. Ну, подожди,
Мы мало летом ветками качали.

Мы мало солнцу улыбались, мало пели,
И мало слушали ночную тишину,
Мы насладиться жизнью не успели,
Тебе в укор, тебе в вину!

Зачем ты губишь нас и нашу смерть торопишь?
С небытия опять уйти в небытиё?
Быть может, ты, оплакивая нас, водою кропишь?
Быть может, в том предназначение твоё?

Но дождь всё льёт и льёт, не слыша тихий крик,
С достоинством держа задумчивый свой лик,
Он так веками, временами, просто льёт мечтая,
Что, очищая нас – приоткрывает двери рая…

Но отчего-то нет смиренья у осинки,
И бьётся жизнь, чтоб не возникли льдинки,
И капли отвергая, сбрасывает вниз,
Холодный, яркий и упрямый лист.
1992

ИСТОЧНИКИ

1. Динисламова С.С. Мы есть...: Стихотворения, рассказы / С.С. Динисламова ; предисл. В.Б. Орлова. – Ханты-Мансийск: ООО «Доминус», 2011. – 128 с.
2. Садомин Н.М. Пася, рума! (Здравствуй, друг!): поэма. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2001. – 96 с.
3. Тарханов А.С. У священного кедра, Рябиновый пир, Исповедь язычника: Стихи и поэмы / Предисл. К. Яковлева. – Екатеринбург : Сред-Урал. Кн. изд-во, 2001. – 400 с.
4. Шесталов Ю. Языческая поэма / Ю. Шесталов // Собрание сочинений / Вступ. ст. Ю. Прокушева ; сост. и примеч. Ю. Шесталова. Т. 1. – СПб – Ханты-Мансийск : Фонд Космического Сознания, 1997. – С. 56–233.

СОДЕРЖАНИЕ

Тарханов Андрей Семенович

Утренний лыжник 3
Рябиновый пир 3
Пасхальный день 4
Снежная симфония 4
«Загадочны нынче закаты» 5
Исповедь таежника 6
У священного кедра 6

Шесталов Ю.Н.

Языческая поэма 8

Садомин Николай Михайлович

Здравствуй, друг! 158

Динисламова Светлана Силиверстовна

Я хотела б родиться маленькой птичкой 197
Татьяна Романовна 198
«Ночь за окном, за окном темнота» 199
Всё льют и льют осенние дожди 199

Источники 201

Для записей

Учебное издание

Мансийская литература

Хрестоматия

для учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений

Подписано в печать 18.12.2017 г.
Формат А5. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman, Arial
Тираж 150 экз.

Изготовлено ООО «ФОРМАТ», г. Тюмень
Тел. 8-919-931-17-04. E-mail: format-72@yandex.ru